

№ 5
Русская
речь

НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ
ИНСТИТУТА
РУССКОГО
ЯЗЫКА
АКАДЕМИИ
НАУК
СССР

1969

СЕНТЯБРЬ—ОКТАБРЬ

ОСНОВАН В 1967 ГОДУ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА

В номере

Г. Ф. Митрофанов. В. И. Ленин о языке печати	3
А. Н. Кожин. О популярности и меткости языка Н. К. Крупской	6
ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	11
Е. В. Невзглядова. Поэтическое слово	20
Н. Г. Михайлова. Народный рассказчик и литературный повествователь в прозе Н. С. Лескова	26
Н. В. Попова. Нижегородский диалект в повести М. Горького «Детство»	33
А. Я. Скшидло. О книжной лексике у Шолохова	33
СЛОВО ПИСАТЕЛЮ	
Майя Борисова. Народное красноречие	41
РЕЧЬ В КИНО	
С. А. Ермолинский, Л. Н. Нехорошев, И. В. Лукинский (ответы на анкету)	47
КУЛЬТУРА РЕЧИ	
Э. А. Старостин. Нормы практической транскрипции	53
И. Г. Добродомов. Как писать собственные имена?	60
А. С. Стрыжак. Украинские названия	62
К. А. Логинова. Золото и серебро	64
В. Н. Сергеев. Карета, автомобиль, машина	67
ГРАММАТИКА, СТИЛИСТИКА	
Г. А. Золотова. Предлог в качестве	70
С. С. Плямоватая. Из школьных сочинений	74

ТЕРМИНОЛОГИЯ

П. В. Веселов. Оправданный случай синонимии в терминологии . . .	77
ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ	
В. В. Веселитский. Критик	82
Е. Н. Этерлей. «...Напена кружку кислых щей». Куриная уха . . .	84
ГОРОДА РОССИИ	
А. К. Матвеев. Каргополь. Холмогоры	88
К. П. Смолина. Всегда ли обыватель был обывателем?	91
ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ	
М. М. Копыленко. О греческом влиянии на язык древнерусской письменности	96
ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ	
И. Р. Емельченко. Диалектологические заметки М. И. Михайлова . .	106
ЗА РУБЕЖОМ	
Русин Русинов. Культура речи в Болгарии	109
ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ	
Ирина Токмакова. Весело и грустно	111
КОНСУЛЬТАЦИИ	
Словарь начинающего филолога	113
Ю. А. Степанов. Страничка логопеда. Предупреждение речевых нарушений	115
Почта «Русской речи»	117
Что читали древние?	31,39,116

На обложке: Н. С. Лесков. «Пугало»
Гравюра Ю. И. Космынина

*При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна*

«ВАШ ЭКСПЕРИМЕНТ МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ...»

**Обзор ответов на вопросы,
опубликованные в № 1, 1969**

Нами просмотрено около 1500 ответов, причем письма в редакцию еще продолжают приходить. Примерно в каждом втором письме несколько ответов. В одном конверте — ответы мужа с женой, в другом — жильцов коммунальной квартиры, в треть-

ем — группы сослуживцев... Некоторые наши корреспонденты прислали по несколько десятков ответов с анкетами. Назовем Т. И. Заворину из г. Холмска, группу товарищей с литфака Курского пединститута, т. Страхову из г. Свирска Иркутской области (с просьбой: «Побольше таких экспериментов»), Л. В. Соколову из Ярославля, коллектив кафедры русского языка Челябинского пединститута и др. Их очень много. Пользуемся случаем, чтобы поблагодарить всех, кто принял участие в эксперименте.

(Окончание см. на стр. 104)



В.И.ЛЕНИН О ЯЗЫКЕ ПЕЧАТИ

Значительное место в наследии В. И. Ленина занимают многочисленные замечания о культуре устной и письменной речи. Считая большевистское слово могучим средством воздействия на массы, орудием политического воспитания и повышения коммунистической сознательности трудящихся, В. И. Ленин неустанно боролся за ясность, простоту, общедоступность и убедительность языка печати.

Особенно настойчиво В. И. Ленин и коммунистическая партия добивались предельной четкости, простоты и популярности языка газеты. В резолюции VIII съезда партии в 1919 году отмечалось, что в газетах «печатываются длинные, малоинтересные статьи, вместо того, чтобы откликаться короткими, простым языком написанными статьями на важнейшие вопросы общей и местной жизни» («О партийной и советской печати». Сборник документов. М., 1954, стр. 211). В резолюции «О печати», принятой на XIII съезде партии (1924), указывалось, что «необходима дальнейшая работа над языком газет и умелое сочетание максимума популярности и яркости изложения с серьезностью и обстоятельностью содержания» (там же, стр. 306). «Необходимо язык газеты сделать вполне доступным массовому читателю, всячески избегая непонятных и отвлеченных оборотов», — говорилось в постановлении Оргбюро ЦК РКП(б) от 1 декабря 1924 года («Решения партии о печати». М., 1941, стр. 79).

Борясь за действенность большевистской пропаганды, В. И. Ленин непримиримо относился к пустому фразерству и всякого рода «размазыванию цветов красноречия». «Поменьше политической трескотни, поменьше общих рассуждений и абстрактных лозунгов» (Полное собрание сочинений. Т. 42, стр. 330), — советовал Владимир Ильич неопытным и не понявшим своих задач ораторам — ибо «нет ничего более противного духу марксизма, как фразы» (т. 21, стр. 73).

В меньшей мере В. И. Ленин осуждал банальную «красивость» и вычурность слога некоторых публицистов. «...Присматривайте-ка вы немножко, тов. Плеханов, за Мартыновым и Старовером, право присматри-

вайте! — советовал Владимир Ильич. — Пишут они красиво, слов нет, совсем даже по-новому красиво, в декадентском стиле, но вот, что к чему, это у них не всегда выходит» («Ленинский сборник». V, стр. 76). Язык революционной партии, заявлял В. И. Ленин, должен быть прост, ясен, политически заострен и понятен широким массам.

Сам Владимир Ильич в своих выступлениях никогда не прибегал к туманно-книжным выражениям, к внешней «красивости» и витиеватости стиля. «Временами речь его, — пишет Е. М. Ярославский, — его слово поднимается до высших вершин красоты. Но это — красота какая-то особенно простая. Красота понятная, близкая, без фальши, без выкрутас, без непонятных рабочему и крестьянину украшений. Такой простоты не выдумашь, она из нутра, из глубины натуры Ленина» («Жизнь и работа В. И. Ленина. М., 1920, стр. 253»).

Наряду с резкой критикой дуствословия и фразерства, риторичности и напыщенности стиля В. И. Ленин указывал также, что большим препятствием в деле политического воспитания масс, в пропаганде идей коммунистической партии является многословие. Характерны в этом отношении «Замечания на комиссионный проект программы», составленный Мартовым в 1902 году. Многие места этого проекта сопровождаются такими комментариями В. И. Ленина: «Слова „рассчитывая на их поддержку“ следует выкинуть. Они излишни (если призывает, то значит рассчитывает)...» (т. 6, стр. 249); «Эти слова, по-моему, следует вычеркнуть: Излишнее повторение» (т. 6, стр. 242); «Опять повторение!!» (т. 6, стр. 245); «Эти слова следовало бы выкинуть, как излишнее повторение мысли, высказанной уже в предыдущем положении».

Вообще § 5 особенно рельефно показывает общий недостаток проекта: *длинноты* и нежелательную *тягучесть* изложения» (т. 6, стр. 244).

Не менее отрицательно относился В. И. Ленин к штампованному, чиновничье-бюрократическому стилю речи с его казенными словами и оборотами. Писать ясно, просто, без

ненужных ухищрений слога, призывал В. И. Ленин, и в своих правках чужих статей он неизменно следовал этому правилу. Например, в рукописи одного из переводов было сказано: «... итальянский социализм представляет из себя организм с чрезвычайно неравномерным умственным развитием по отношению к развитию тела и членов». Исправляя эту формулировку, В. И. Ленин убрал из нее типичные канцелярские обороты *представляет из себя и по отношению к ...*. В результате этих и других изменений фраза стала яснее и ярче выражать заложенную в ней мысль: «... итальянский социализм... можно сравнить с организмом, в котором голова совершенно непропорционально развита по сравнению с корпусом и отдельными членами» («Ленинский сборник». XXV, стр. 288). В другом месте рукописи В. И. Ленин предложил заменить громоздкий оборот «обеспечить вмешательство судебной власти со строго восстановительными по части правонарушений функциями» более четкой формулировкой: «... *строгие наказания по суду за правонарушения*» (там же, стр. 282).

Забота В. И. Ленина о простоте, ясности и доступности языка печати и публичных выступлений проявилась и в его чрезвычайно строгом отношении к использованию терминологии. Резко осуждая «учено-философскую тарбарщину» буржуазных теоретиков, В. И. Ленин подчеркивал, что для широких народных масс надо писать без мудреных терминов, хитрых «измов» и словесных выкрутасов.

Вместе с тем В. И. Ленин постоянно боролся с неточным употреблением или намеренным искажением смысла терминов. Так, в работе «Памяти Герцена» он пишет о том, как «рыцари либерального русского языкоблудия» искажают герценовское понимание термина «скептицизм» (т. 21, стр. 256—257). В статье «От народничества к марксизму» Ленин говорит о неправильном употреблении народниками таких слов и словосочетаний общественно-политической лексики, как *трудящиеся, эксплуатируемые, рабочий класс, трудящаяся масса, класс эксплуатируемых* (т. 9, стр. 192), в работе «О либе-

ральном и марксистском понятии классовой борьбы» Владимир Ильич специально останавливается на вопросе об искажении «экономистами» понятия «классовая борьба» (т. 23, стр. 238—239) и т. д.

В. И. Ленин неоднократно отмечал, что неточно сформулированная мысль, неудачно употребленный термин могут привести к политическим ошибкам, и своими редакторскими правками учил соратников по борьбе правильно оценивать — и называть! — явления и факты действительности. Показательным примером этого могут служить исправления, внесенные В. И. Лениным в подготовленную к печати статью В. В. Воровского «Еще страничка из истории». В рукописи этой статьи В. В. Воровский сообщал, что «...некоторые революционеры отстраняют вопрос о подготовке восстания, сосредоточивая свои упования на Думе „соглашателей“. Называя таким политических деятелей их настоящим именем, В. И. Ленин вместо слов «некоторые революционеры» написал: *«Нашлись оппортунисты в социал-демократии, которые отстраняют вопрос о подготовке восстания...»* («Ленинский сборник». XXVI, стр. 349). В связи с этим исправлением В. И. Ленин изменили само заглавие статьи, она стала называться «Буржуазные соглашатели и пролетарские революционеры» (там же).

В своих работах В. И. Ленин не только с предельной точностью употреблял слова и термины общественно-политической лексикки, но и всегда стремился довести их смысл до широких читательских масс. Если он использовал мало еще известные специальные слова и термины, то обязательно пояснял их с помощью определений, уточняющих слов, синонимических замен и т. п. Например: «Никто не может отрицать — и ликвидаторы в день собрания металлистов сами признали это — что металлисты *авангард* (передовой отряд) всего пролетариата России» (т. 24, стр. 100—101); «...демократия — как власть народа (демократия буквально в переводе с греческого и значит: власть народа)» (т. 39, стр. 74); «...сельскохозяйственных союзов

(коопераций, как их называют в книжках)» (т. 7 стр. 159). Раскрывая содержание термина «антагонизм», В. И. Ленин заменяет его синонимическими выражениями: «враждебная противоположность интересов» (т. 6, стр. 17), «классовая борьба» (т. 6, стр. 30) и др.

Ведя борьбу за чистоту и общедоступность языка, В. И. Ленин непримиримо относился к различного рода словосокращениям, получившим широкое распространение в устной и письменной речи 20-х годов. В. Д. Бонч-Бруевич вспоминает глубокое возмущение В. И. Ленина при чтении одной газетной статьи с множеством уродливых сокращений. «На каком языке это написано? Тарабарщина какал-то. Воляшук, а не язык Толстого и Тургенева», — восклицал Владимир Ильич. — (Как работал Владимир Ильич. — «Читатель и писатель», 1928, № 2).

В своих выступлениях и беседах В. И. Ленин с крайним неодобрением отзывался о таких словосокращениях, как *южбум, гостресты, комчанство, шкряб* и т. п., ведущих к бюрократизации языка, к засорению его словесным хламом. Так, например, в политическом отчете Центрального Комитета РКП(б) от 27 марта 1923 года В. И. Ленин с иронией говорил: «Я бы очень хотел взять пример нескольких гострестов (если выражаться этим прекрасным русским языком, который так хвалил Тургенев) и показать, как мы умеем хозяйничать» (т. 45, стр. 80).

Столь же решительно выступал В. И. Ленин против излишнего и порой неправильного употребления иностранных слов. Отмечая, что засорение ими языка газет затрудняет влияние партии на массы, В. И. Ленин горячо призывал литераторов, пропагандистов и работников прессы «объявить войну коверканью русского языка», «употреблению иностранных слов без надобности» (т. 40, стр. 49). Редактируя в январе 1905 года материалы для четвертого номера газеты «Вперед», В. И. Ленин заменяет все ненужные иностранные слова русскими: «...*Энергично* воздвигаются баррикады», — писал один автор.

В. И. Ленин вместо „энергично“ поставил „быстро“ («Ленинский сборник». XXVI, стр. 116). «Толпа *сымпровизировала* большое народное собрание», — сообщал другой корреспондент. Владимир Ильич замечает в этой фразе иностранное слово *сымпровизировала* русским выражением «составила без всякой подготовки» («Ленинский сборник». XXVI, стр. 127). Вместо встречающихся в рукописях авторов и переводчиков не для всех понятных слов *изолировать*, *интернациональным*, *конституирована*, *секретных*, *масштабе*, *прессе* Владимир Ильич предлагал соответственно нанечать *отрезать*, *международным*, *учреждена*, *тайных*, *размере*, *газет*.

Исключительно большое внимание В. И. Ленин уделял вопросам грамотного и стилистически правильного построения речи. Например, после прочтения одной статьи В. И. Ленин указывал: 1) „пара лет“ — не по-русски; 2) „клеят безумием“ — не по-русски; 3) длинные фразы с повторением (чтобы сказать то-то, чтобы постоянно и непрерывно связывать, чтобы и т. д.) необходимо переделать в короткие; 4) слог весь, по-моему, надо переделать в более популярный — для сего переписать все заново» («Ленинский сборник». XXV, стр. 301).

Редактируя текст комиссионного проекта программы партии, В. И. Ленин отметил целый ряд стилистических и языковых неточностей. Отдельные параграфы этого проекта сопровождаются такими лаконичными пометками Владимира Ильича, как «Слог!!», «Почистить бы слог!» (т. 6, стр. 250, 243).

Основополагающие высказывания В. И. Ленина о языке печати, как и многочисленные его замечания о культуре устной и письменной речи, учат нас чуткому и бережному отношению к слову, настойчиво призывают неустанно бороться о красоте, выразительности, простоте и ясности нашего великого русского языка.

Г. Ф. МИТРОФАНОВ,
доцент Томского университета

Отмечая популярность ленинских выступлений, Н. К. Крупская говорила: «В своих статьях, написанных для рабочих, Ильич ставил вопросы по-серьезному; не упрощая, не вульгаризируя, но говоря все, что надо сказать» (Н. К. Крупская. Педагогические сочинения в 10-ти томах. Т. 2. М., 1957—1962, стр. 526. — В дальнейшем цитаты даны по этому изданию). Сказанное имеет непосредственное отношение к языку публицистических произведений самой Н. К. Крупской.

В. И. Ленин решительным образом выступал против популярничанья, против вульгаризации: он проявлял постоянную заботу о простоте, ясности и доступности языка большевистской публицистики. «Популярный писатель подводит читателя к глубокой мысли, к глубокому учению, исходя из самых простых и общеизвестных данных, указывая при помощи несложных рассуждений или удачно выбранных примеров главные *выводы* из этих данных, наталкивая думающего читателя на дальнейшие и дальнейшие вопросы. Популярный писатель не предполагает не думающего, не желающего или не умеющего думать читателя, — напротив, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать головой и *помогает* ему делать эту серьезную и трудную работу, *ведет* его, помогая ему делать первые шаги и *уча* идти дальше самостоятельно» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 5, стр. 358). К таким писателям принадлежит и Н. К.

О ПОПУЛЯРНОСТИ И МЕТКОСТИ ЯЗЫКА Н. К. КРУПСКОЙ

Крупская, а ее труды — образец публицистического стиля.

В произведениях, написанных в начале XX столетия, Н. К. Крупская стремится поднять классовое самосознание людей труда, стремится убедить тех, кто «принадлежит к самому бесправному и угнетенному классу общества» (т. 1, стр. 80), что они должны осознать свое положение и бороться за освобождение. И в этом отношении интересы едины: всех, живущих результатами своего труда, — мужчин и женщин — объединяет одно общее дело. Эти мысли находят яркое отражение в брошюре «Женщина-работница», изданной в 1901 году: «Итак, положение женщины-работницы всюду и везде крайне тяжелое...

Женщина-работница — член рабочего класса, и все ее интересы тесно связаны с интересами этого класса... Поэтому женщина-работница не может равнодушно относиться к тому, добьется ли рабочий класс лучшей доли; рабочее дело — ее близкое, кровное дело, оно ей так же близко, как и рабочему-мужчине. В чем состоит это „рабочее дело“? (там же).

В ответе на этот вопрос раскрывается содержание крылатой фразы «рабочее дело». Становится ясно, что речь идет о борьбе за то, чтобы «не было никаких классов, не было ни богатых, ни бедных, чтобы земля, фабрики, заводы, мастерские, рудники принадлежали не отдельным лицам, а всему обществу, которое будет само управлять ими».

Н. К. Крупская стремится рас-

крыть значение иноязычных слов, выражающих общественно-политические понятия (социализм, социалист, буржуазия, парламент и др.). В одних случаях такие слова комментируются: трудящиеся «работают не на себя, а на собственников фабрик, земли, рудников, магазинов и проч., или, как принято называть эти классы населения, на буржуазию» (т. 1, стр. 80); при социализме «общество возьмет на себя заботу о слабых, больных, стариках... Общество возьмет на себя и содержание, и воспитание детей... Людей, которые хотят такого порядка вещей, которые борются за его осуществление, называют социалистами» (т. 1, стр. 81). В других случаях иноязычные слова сопровождаются соответствующими толкованиями: «рабочие требуют поэтому, чтобы страна управлялась на основании законов, издаваемых парламентом (собранием народных представителей), чтобы чиновники, управляющие страной, давали отчет о своих действиях парламенту...» (т. 1, стр. 83).

Даже русские слова, получившие иное употребление и ставшие фактом общественно-политической лексики, под пером Н. К. Крупской обретают необходимую доходчивость и становятся понятными широкому кругу читателей. Так, например, слово *ясли* в значении «учреждения, где маленькие дети находятся в течение дня во время работы родителей» разъясняется таким образом (в начале века это слово не имело такого распространения, как сейчас): «Потребность в яслях, в

„детских харчевнях“, как их называли крестьяне, так велика, что в некоторых яслях набиралось до 260 малышей» (т. 1, стр. 407).

Бедственное положение рабочих и крестьян в буржуазном обществе Надежда Константиновна обрисовывает при помощи метких выражений народно-разговорной речи: «Зачастую приходится сидеть впрямь, в нетопленных избах... Запасов на черный день нет никаких, живут изо дня в день, оттого-то всякий простой неурожай превращается в голод, в бедствие» (т. 1, стр. 75); «Днем, уходя на работу, фабричная работница оставляет детей на попечение какой-нибудь соседке — старухе, а когда они подрастут несколько, то и без всякого призора» (т. 1, стр. 94; курсив наш. — А. К.).

Обличительный пафос публицистического выступления усилен употреблением метких выражений, ставших популярными в языке революционной газеты: купля-продажа, (ср. поговорку: «Купля-продажа, тем и свет стоит»), держать сторону — «оказывать поддержку», фабрика ангелов, — частное предпринимательство, связанное с ирреальным на «воспитание» грудных детей». Например: «В современном капиталистическом обществе, где все зиждется на купле-продаже, и человек расценивается с точки зрения дохода, который приносит его рабочая сила» (т. 1, стр. 157); «...во всех столкновениях между фабрикантами и рабочими правительство держит сторону фабрикантов» (т. 1, стр. 83). Выражение «фабрика ангелов» — суровый приговор капиталистической действительности, порождающей такое уродливое явление, как нажива на детской беззащитности; слово *фабрика* подчеркивает размах страшного «предприятия»: ведь сделать младенца ангелом — значит отправить его на тот свет. «В газетах не раз сообщалось, что в том или другом большом промышленном городе обнаружена „фабрика ангелов“. Какая-нибудь женщина промышленлет тем, что берет на воспитание за известную плату грудных детей и голодом, опиумом и тому подобными сред-

ствами старается как можно скорее отправить их на тот свет, понадевшись из них „ангелов“. Начинается дело, и делательница „ангелов“ отправляется на каторгу, а где-нибудь в новом месте возникает новая „фабрика ангелов“, порождаемая теми же самыми условиями: невозможностью для фабричной работницы прокормить своего ребенка» (т. 1, стр. 94—95).

Простоту и меткость языку произведений Н. К. Крупской придают слова повседневной, обиходной речи. С их помощью Надежда Константиновна рассказывает об условиях жизни людей труда, показывает свое отношение к общественно-политическим событиям: заедать — «изводить кого-либо, создавать невыносимые условия» (ср. в пьесе А. Н. Островского «Бедность не порок»: «За что девичий век заедаете, в кабулу отдаете?»); зашуститься — «оскорблять» (бить, наносить удары); харчи — «еда, пища»; промашка — «промах, ошибка»; хватка — «решительный способ действия». Например: «Предрассудок, что занятие домашним хозяйством есть занятие, достойное лишь существа с низшими потребностями, портит отношения между мужчиной и женщиной, внося в них начало неравенства. Но одну женскую жизнь заел этот предрассудок...» (т. 1, стр. 120). «А личность человека ежечасно зашустается, топчется в грязь, коверкается: с ней не считаются» (т. 1, стр. 157); «Заработок кустарей ничтожный. Так, кимрские сапожники зарабатывают 4—5 рублей в месяц на своих харчах» (т. 1, стр. 76); «На очереди дня задача — стать страной грамотной... Крепче должна быть хватка, надо бить темногу и безграмотность без промашки, развернуть шире ликбезпоход, налечь всем СССР на всеобуч» (т. 2, стр. 463).

В произведениях Н. К. Крупской употребляются слова и формы, имевшие распространение в речи трудового люда, например, просторечные деепричастия на *-учи, -ючи*: «Кустарь только тогда может кое-как прокормиться, когда вся его семья — и старики, и дети — рабо-

такот не покладаячи рук» (т. 1 стр. 93).

Особенно выразительны слова местные, областнические, дающие яркое представление о характере крестьянской жизни: загад — «наряд, приказание, задание, мнение, определяющее характер деятельности»; коняга — ласкательное к слову *конь*, «лошадь»; справлять — «исполнять». Например: «Чем же объясняется такое зависимое положение женщины-крестьянки? Хозяин-мужчина распоряжается всеми работами, женщина является лишь исполнительницей его приказаний. Когда начинать пахать, сеять, брать или не брать такую-то работу — все это решает мужчина; достает деньги на уплату податей; продает хлеб, скот опять-таки мужчина. Весь „загад“ работ мужской» (т. 1, стр. 86); «Все это требует умелых, опытных рабочих, умеющих соображать, прояслять почву, умеющих работать не только за чужим загадом» (т. 1, стр. 179). Интересно, что это слово встречаем и у В. И. Ленина в письме Г. М. Крижановскому: «У нас не хватает как раз спецов с размахом или „с загадом“... Нельзя ли добавить *план* по технический (это, конечно, дело *многих* и не скоропалительное), а политический или государственный, т. е. задание пролетариату?» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 40, стр. 62).

Слова *коняга*, *справлять*, которые Н. К. Крупская использует столь же удачно, придают повествованию колорит крестьянской речи: «Теперь в России на десять миллионов дворов насчитывается около трех миллионов безлошадных да столько же однолошадных. А какое уж хозяйство без лошади или хотя бы с одним конягой?» (т. 1, стр. 75); «Рассмотрим положение женщины-работницы. Возьмем крестьянку. Она справляет всю тяжелую полевую работу, в страду не знает ни дня, ни ночи...» (т. 1, стр. 74).

В переносном употреблении слова народно-разговорной речи усиливают обличительную направленность публицистического выступления: муравейник — скопище лю-

дей, густопсовый — махровый, достойный осуждения: «Нервные, полуголодные, в вечной борьбе за кусок хлеба и угол, мечутся они днем и ночью в этом душном муравейнике, который называется город» (т. 1, стр. 103).

Пословицы и поговорки придают языку произведений Н. К. Крупской удивительную меткость и образность. В контекстах публицистической речи самоцветы народной мудрости подчеркивают непереложность того, о чем повествует автор: «То, что священник, вчера произносивший молитвы за царя, с падением самодержавия стал молиться за „благоверное“ кадетское, а потом коалиционное правительство, должно было не поднять авторитет церкви, а еще более умалить его, подчеркнув, что церковь „чей хлеб кушает, того и слушает“» (т. 2, стр. 27); «В последнее время, правда, от городской думы устроено несколько колоний для учеников городских школ, но это только капля в море нужды» (т. 1, стр. 104). А вот пример того, как Надежда Константиновна использует крылатые выражения: «Почему сотруднику реакционного „Нового времени“ не нравится, что в сельские школы попадают книжки, вносящие луч света в темное царство народного невежества, — вполне понятно» (т. 1, стр. 178).

Пословицы и поговорки, выступая в качестве средства образной характеристики политических махинаций буржуазных и соглашательских партий, подвергаются под пером Н. К. Крупской творческой переработке. «„Ночью все кошки серы“ — говорит пословица, и во мраке царского режима казалось, что и кадеты, и социалисты в области народного образования хоят одного и того же: сделать школу свободной, разумной, доступной для всех. Но при ярком свете свершающегося социального переворота, с беспощадностью разоблачающем классовую позицию каждой общественной группы, стало видно совершенно ясно и определено, что кадетская педагогическая кошка и кошка коммунистическая (я беру

коммунистов как наиболее последовательных, сознательных социалистов) окрашены в совершенно различные цвета» (т. 2, стр. 69).

Перифрастические выражения оттеняют пафос борьбы за торжество дела рабочего класса: «...социалисты всегда выставляли на своем знамени отделение церкви от государства. Декрет только проводит в жизнь то, что десятки лет проповедовали лучшие люди России» (т. 2, стр. 27).

Синтаксические средства русской речи придают языку публицистических произведений Н. К. Крупской особые интересные оттенки. Так, обособленные приложения при лично-указательных местоимениях подчеркивают положение тех социальных групп, к судьбе которых привлекается внимание читателя: «Плохо жить им на свете, детям петербургских рабочих, — так плохо, что почти половина их умирает до пятилетнего возраста» (т. 1, стр. 219). Иногда обособленные обстоятельства помогают Надежде Константиновне выделить основную мысль высказывания: «Священник... обещает справедливость на небе. Зачем будут учить этому своих детей рабочие и крестьяне, которые добиваются справедливости *здесь, на земле, хотят здесь, на земле, построить для всех светлую, разумную жизнь?* Ребенка надо защитить от внушения ему мысли, что справедливость и светлая жизнь недостижимы на земле» (т. 2, стр. 29. Курсив наш. — А. К.).

Популярное изложение может быть окрашено ораторской интонацией, опирающейся на экспрессивные возможности однотипных построений. В этой роли чаще всего выступают однородные члены предложения, представляющие собой лексически связанные формулы образной речи: «Особенно тяжело приходится женщине из бедной семьи: к тяжелой работе для нее присоединяется еще беспросветная нужда, заботы, унижения» (т. 1, стр. 74); «В пыли, грязи, холоде бьется женщина — крестьянка, как

и ее муж, над клочком выпаханной земли...» (т. 1, стр. 75); когда средства производства будут в руках общества, то тогда «трудиться будут обязаны все, но это не будет тот подневольный, изуряющий, притупляющий труд, на который теперь обречен рабочий класс» (т. 1, стр. 81).

Трехчленные построения привлекают внимание читателя к важнейшим задачам, выдвигаемым жизнью: «Знания, знания и знания требует народ, сознавший уже, что знание — сила» (т. 1, стр. 180); «Нам надо стать умелыми, знающими, стойкими работниками» (т. 7, стр. 8); «Наглядность, показ, опыт должны царить в деревенской школе» (т. 7, стр. 250).

Страстность публицистического выступления усиливается анафорическим началом нескольких контекстно связанных предложений: «Православие было государственной религией, на поддержку его шли крупные суммы. Но зато и оно было слугою государства... Священник провозглашал многолетие царствующему дому, священник освящал казни своим присутствием, священник благословлял христолюбивое воинство на войну» (т. 2, стр. 25—26).

Публицистические произведения Н. К. Крупской стали достоянием трудящихся; они несут страстное и меткое слово ленинской партии во все уголки нашей необъятной Родины. В произведениях Н. К. Крупской нашли свое выражение основные качества большевистской публицистики: «Максимум марксизма = максимум популярности и простоты» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 32, стр. 442); в них отражено неповторимое публицистическое мастерство В. И. Ленина, язык которого «есть вместе с тем публицистический стиль пролетариата в его лучшей форме» (А. В. Луначарский. Журналистская хватка Ильича. — «Литературная газета», 1960, № 30).

А. Н. КОЖИН



ПОЭТИЧЕСКОЕ СЛОВО

Слово — наименьшая самостоятельная смысловая единица языка.

«Слово в художественном произведении, совпадая по своей внешней форме со словом соответствующей национально-языковой системы и опираясь на его значение, обращено не только к общенародному языку и отражающемуся в нем опыту познавательной деятельности народа, но и к тому миру действительности, который творчески создается или воссоздается в художественном произведении. Оно является строительным элементом для его построения и соотнесено с другими элементами его конструкции или композиции» (В. В. Виноградов. *Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. М., 1963, стр. 125). Поэтическое слово несомненно обладает какими-то особыми свойствами. Однако поэтическая речь так же состоит из слов, как обыденная речь. Что же именно происходит со словом? Как преобразуется оно в условиях поэтической речи?

Наша обыденная речь в значительной степени стандартизована. На этом основана общезыковая стилистика. Например, мы можем сказать *мятежный год*, но не скажем *мятежный кот*, хотя *мятежный* означает 'беспокойный', а кот вполне может быть *беспокойным*.

Значительные ограничения в этом отношении вносит в разговорно-литературную речь эмоционально-экспрессивная окраска слов, по которой слово относится к той или иной стилистической категории. Мы говорим *потрескавшиеся*



**ЯЗЫК
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

губы и не говорим *потрескавшиеся уста*; только в шутку можно сказать *у тебя горят ланиты* вместо *у тебя горят щеки*.

В поэтической речи мы сплошь и рядом встречаемся с такими «несуразностями», как *мятежный кот* или *потрескавшиеся усы*, и они не режут уха, не бросаются в глаза своим противоречием стилистическим нормам языка. Например, у Пушкина в строках:

Еще дуют холодные ветры
И наносят утрени морозы...

мы не замечаем, что в разговорной речи нельзя сказать *наносят морозы*, а только *наносят сугробы*. Наносить можно снег, а не мороз. У Маяковского находим:

Где для меня уготовано логово?

В прозаической речи нам удивительным показалось бы сочетание *уготовано логово*, потому что это слова противоположной стилистической направленности. Не скажешь *уготован обед*, а скажешь *уготован жребий*, *уготована участь*.

Для поэзии произвольное соединение слов (гораздо более произвольное, чем в обыденной речи) — закон, поэтому оно и не отмечается в сознании как отклонение от нормы.

Эту произвольность соединения слов в словосочетания мы обнаружили, сравнивая поэтическую речь с обыденной прозаической речью. Но наша разговорная речь часто пестрит заимствованиями из области поэзии, мы привержены к той языковой игре, по правилам которой организовано искусство слова — поэзия и художественная проза (поэзия в широком смысле). При разговоре мы любим «поиграть» словом, иногда нам удается словотворчество, употребление одного слова в двух или нескольких значениях, игра звуковым составом слова, рифма и т. д. А другая сторона обыденной прозаической речи — «оборотная сторона» — это точность и однозначность смысла, аналитичность построения, логичность. Вот с этой-то логической речью мы и будем сравнивать поэтическую для выявления ее специфики. Логическая речь в чистом виде редко встречается, особенно в живом общении, но все же именно с ней имеет смысл сравнивать поэтическую, поскольку логическая речь противоположна по своей природе поэтической и вместе с тем также состоит из слов и предложений.

Метод сравнения, вернее, метод отождествления одного вида речи с другим применил известный французский лингвист Ш. Балли, назвав его идентификацией. Он отождествлял (идентифицировал) эмоционально-экспрессивную речь с логической, в результате чего выявил элементы речи, несущие эмоционально-экспрессивную окраску.

Нас интересуют те элементы слова как единицы языка, которые несут собственно поэтический смысл, то есть то, чем отличается поэтическое слово от прозаического.

Обратимся к поэтическому тексту, применяя к поэтическому слову прием идентификации — логического отождествления. Возь-

мом строфу из стихотворения М. Цветаевой, входящего в цикл «Надгробие»:

Напрасно глазом — как гвоздем,
Пронизываю чернозем:
В сознании — верней гвоздя:
Здесь нет тебя — и нет тебя.

Чернозем — это вид почвы, плодородная почва. Если бы это слово в данном контексте выражало обозначаемое им понятие, то можно было бы передать тот же (или приблизительно тот) смысл, заменив этот вид почвы другим, и без всякого ущерба вместо *чернозем* сказать, например, *краснозем* — тоже вид плодородной почвы. Ведь для контекста вид почвы безразличен: если человека закопали в чернозем, то это чистая случайность (могли бы и в краснозем). При такой замене осталось бы подобное понятие и сохранилась бы рифма. Однако такая замена невозможна. Очевидно, смысл этого слова здесь далек от понятия чернозема — плодородной почвы.

Возьмем другой пример — из стихотворения Блока «В ресторане»:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Задремать значит 'некрепко заснуть'. Но здесь ни о каком сне не может быть и речи. Глагол *задремали* передает такое же тревожное порывистое движение, как глагол *вздохнули* и *зашептались*. По смыслу, который невольно воспринимается читателем, ресницы скорее затрепетали, задрожали, дернулись, а не уснули или задремали. Может быть, они задремали, потому что опустились? Попробуем заменить *задремали* словом *спустились*:

И вздохнули духи, опустились ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Действие, выраженное глаголом *спустились*, выпадает по смыслу из общего ряда однотипных действий: вздохнули, зашептались тревожно. А слово *задремали* несомненно передает подобное же смятение, порывистое движение вопреки своему, можно сказать, противоположному языковому значению. Это слово так же, как и *чернозем* в первом примере, не выражает того понятия, которое оно выражает в обыденной речи.

В логической речи слово передает обозначаемое им понятие, оно эквивалентно понятию. В поэтической речи мы наблюдаем случай, когда смысл передается при помощи каких-то других средств и не выражает обозначаемого словом понятия. *Чернозем* — не 'плодородная почва', а *задремали* — не 'заснули', а совсем что-то противоположное по смыслу.

Таким образом, понятийное ядро значения слова в поэтической речи может не принимать непосредственного участия в создании смысла.

Другой важный компонент значения слова — эмоционально-экспрессивная окраска. О возможном безразличии к ней слова поэтического текста у нас шла речь вначале. Смысл в поэтическом произведении может быть передан без помощи эмоционально-экспрессивной окраски слова, которая как будто вытесняется из текста.

Третий, не менее важный компонент значения слова, — грамматическое значение. Известно, что значение общеязыкового слова складывается из значения его основы и общего значения соответствующей части речи. Например, значение слова *прочитать* складывается из значения основы и значения действия, выраженного глагольным суффиксом.

В поэтическом тексте общее значение части речи, к которой принадлежит слово, может стираться. Глагол может не передавать значение действия, а существительное неожиданно приобрести его. В строфе из «Евгения Онегина», рисующей танец балерины Истоминой, строка

И вдруг прыжок, и вдруг летит

передает быстрое, стремительное движение, которое вносится наречием *вдруг*, повторенным дважды, и существительным *прыжок*.

Очевидно, так же, как понятийное ядро, так же, как эмоционально-экспрессивная окраска, грамматическое значение поэтического слова может не участвовать в передаче собственно поэтического смысла. Каким же языковым элементом передается этот смысл, если его не передает значение слова?

Вернемся к слову *чернозем*. Попробуем найти ему замену по смыслу. Мы установили, что *чернозем* в тексте стихотворения не означает вида плодородной почвы. Значение этого слова в тексте можно передать словами *черная земля* (человека погребли в черную землю). Раньше, подбирая замену, мы шли заведомо неправильным путем, подыскивая понятию, выраженному этим словом, сходное понятие. Заметим, что *чернозем* в своем составе имеет значение 'черная' и 'земля' (черн-о-зем). В данном случае смысл образуется оттого, что морфемы (значимые части слова) приобретают самостоятельную смысловую роль и соединяются на правах слов в словосочетание *черная земля*. А вот другой пример того же явления:

Сейчас притащили израненный вечер.
Крепился долго,
кургузый,
шершавый,
и вдруг, —
надломивши тучные плечи,
расплакался, бедный, на шею Варшавы.

Маяковский

Здесь *тучные плечи* означает 'плечи туч', а не просто 'толстые (тучные) плечи'. Смысл образуется морфемами, реализовавшими свои значения как самостоятельные.

А что происходит в нашем примере из стихотворения Блока? В слове *задремали*, которое не передает своего общезыкового значения, не происходит дробления на морфемы; смысл в нем образуется иным путем. В поисках синонима к этому слову мы несомненно вспомним *задрожали*, *затрепетали*, которые передадут движение ресниц, подобное действиям, выраженным глаголами *вдохнули* и *зашептались*:

И вдохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Ресницы не заснули, а, наоборот, затрепетали, задрожали. Заметим, что *задремали* в звуковом отношении отсылает к этим словам. *Задремали* как будто делится на звук и значение. По значению оно может передавать смысл *опустились*, а по звучанию к этому *опустились* добавляется тревога и смятение, которые несет звуковой комплекс *др* (задремали), ассоциацией по сходству связанный со словами *дрожать*, *трепетать*, *дернутья*. Так и возникло, очевидно, слово *задремали*: *опустились* + смысл, подобный *вдохнули*, *зашептались*, *задрожали*, *дернулись*.

Таким образом, в слове *задремали* смысл передается при помощи звука — языкового элемента, не играющего самостоятельной смысловой роли в обыденной речи.

Известно, что звук сам по себе значением не облечен. Но, ассоциативно связываясь с различными смысловыми представлениями, он способен стать символом того или иного смысла. В доказательство приведу строки стихотворения А. Прокофьева «Волны»:

Волна, волна — все буквы влажны
Да и слились в один размах.
Я произнес сейчас их дважды
И ощутил их на губах!
Я произнес их снова.
Вскоре
Ко мне пришло издалека
Волнение рек, дыхание моря
И колокольчик ручейка.

Поэт произносит слово, и звуки, составляющие его, ассоциируются с его значением.

Очень часто звук как бы изображает смысл, передаваемый словарными значениями слов.

Как с древа сорвался предатель ученик,
Дьявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной...

В этих стихах Пушкина бросающееся в глаза нагромождение согласных в последней строке несомненно не случайно. Пушкин в

высшей степени владел тем, что он называл музыкой стиха; такая перегрузка согласными не могла быть им не замечена. Здесь скопление согласных в силу своей противоположности музыке и гармонии как явления прекрасного ассоциируется со всем безобразным и отвратительным, что связано с образом дьявола.

Интересно в этом отношении первое слово строки: *дохнул* — видоизменение *дохнул*, которое Пушкин употреблял не однажды («Дохнул, завыл — и вот сама идет волшебница зима»; «Дохнул осенний хлад, дорога промерзает»). *Дхнул* в этом контексте ассоциируется с *ткнул*, *впихнул*, оно содержит оттенок грубого, резкого действия по аналогии с этими словами, тогда как *дохнул* этого оттенка лишено.

Любое изменение в звуке, любое звуковое явление в стихе, слышимое и отмечаемое сознанием, не может быть безразлично в смысловом отношении. Восприятие смысла и восприятие звука тесно связаны между собой.

Рассмотрим еще один пример смысловой нагрузки звука. Стихотворение А. Прокофьева «Так вот ты какая, Сибирь за Иртыш»:

... И направлю к тебе и спрошу,
Как живешь ты, как можешь,
Что ты делаешь,
Чем свое сердце тревожишь?
Чем тревожишь, чем тешишь
И чем утешаешь?
Может быть, и ответишь —
Спросить не решаюсь.

Можно почувствовать, как глаголы с одинаковыми окончаниями на *-ешь*, *-ишь* (их восемь на семи строках!) выражают задушевное обращение на «ты» («сердечное ты», как сказано у Пушкина). И все другие шипящие и глухие согласные, встречающиеся в тексте, принимают участие в передаче общего смысла — интимного теплого обращения. Они ассоциативно связываются через глаголы на *-ешь*, *-ишь* с «сердечным ты», которое звучит в стихотворении.

Итак, мы рассмотрели две возможности передачи поэтического смысла — при помощи части слова (морфемы) и при помощи звука.

Существует еще одна возможность передачи смысла при помощи собственно языкового элемента, не имеющего предметно-логической отнесенности. Этот элемент значения слова, называемый значимостью, отличает слово от его синонимов и выражается индивидуальным звучанием слова. Синонимы (слова с одинаковым значением) никогда не бывают полными смысловыми эквивалентами. Различие в их значении выявляется при сопоставлении и противопоставлении их другим языковым элементам — словарным

значениям слов языковой системы. Это различие представлено значимостным элементом значения. Например, в строках Заболоцкого:

Гигантский лебедь, белый гений,
На рейде встал электроход.

Электроход назван гением. Интересно, что никакие синонимы и логические эквиваленты этого слова не могут заменить его по смыслу в данном контексте. *Гений* означает творческую одаренность, высокую степень таланта. Но *талант* не может передать тот смысл, который здесь выражен словом *гений*. Так же точно не подошли бы *творец*, *мыслитель* и все другие близкие по смыслу слова.

Есть еще одно значение *гений*, которое, на первый взгляд, могло бы заменить это слово в тексте стихотворения. Гений — незримый, бесплотный дух, покровитель местности и парода, покровитель человека, дух добрый или злой. Заметим, что все это — одно из значений слова *дух*. Но, например, в противопоставлении духа и тела слово *дух* не может быть заменено словом *гений*. Но и в значении мифологического существа, бесплотного, сверхъестественного, доброго или злого, принимающего участие в жизни природы и человека, значении, которое дается академическим словарем современного русского литературного языка и к слову *дух* и к слову *гений*, эти слова не полноценные эквиваленты, потому что не всегда они взаимозаменяемы в конкретных условиях текста.

И если вместо *гений* в стихотворении Заболоцкого мог бы быть *дух*, то только как одна из возможных ассоциаций с явлением электрохода, а не как синоним по смыслу слову *гений*. Разницу «значимостей» этих слов можно еще яснее увидеть, пытаясь сделать обратную подстановку. В строках Пушкина

Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин

невозможно вместо *духи* сказать *гении*. То же и в случае:

.... Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц...

Здесь *гении* также были бы невозможны. И это несмотря на то, что «Словарь языка Пушкина» придает слову *духи* здесь именно то значение — «бесплотное сверхъестественное существо», которое дается слову *гений*.

Таким образом, очевидно, что в значение *гений* (как и в значение *дух*) входит некоторый особый, именно этому слову присущий смысловой элемент, который и использован поэтом в данном случае. Умелым использованием значимостного элемента значения слова объясняется тот факт, что в настоящем произведении поэзии трудно, можно сказать, невозможно заменить одно слово

другим, синонимичным — все слова в нем должны быть незамеченные, «единственные».

Мы наблюдали, как смысловые представления передаются с помощью собственно языковых средств выражения — части слова (морфемы), звука и значимости. Эти смысловые представления сопровождают логическую смысловую линию поэтического произведения, они наслаиваются на логическую канву и несут собственно поэтический смысловой элемент, отличный от логического и противоположный ему по своей природе. То, что говорится словами (значениями употребляемых слов) изображается чисто языковыми средствами выражения. Мы видим, чувствуем, ощущаем в стихотворении Пушкина, как дьявол «дхнул» жизнь в человека, и в то время, как говорится о том, что и куда он «дхнул», мы за толчками, создаваемыми группами согласных, продолжаем ощущать толчки его дыхания, а вместе с ними — грубость и злое начало в этом действии.

Более того, в предшествующей строке в противоположность усеченному *дхнул* протянутое благодаря зиянию *дьявол* и повторенный четырежды в этой строке гласный *и* могут по контрасту вызвать представление о противоположном действии — мягком, вкрадчивом. Они создают благодаря резкой перемене, начавшейся с глагола *дхнул*, впечатление коварства и хитрости этого персонажа, который сначала мягко *приник*, а потом неожиданно *дхнул*. Всю эту картину, воспринятую поэтическим воображением, нарисовал нам звук — несмысловый элемент языка, в поэзии приобретающий явно выраженную смысловую функцию.

Заметим, что поэтическое восприятие необходимо для понимания смысла стихотворного произведения, но оно должно питаться тем, что объективно присутствует в тексте, а не произвольно примышлять образы и картины к логическому содержанию стихотворения. Поэтический смысл должен быть выражен, только тогда он может быть воспринят. Читатель вправе не верить поэту, когда он говорит, что кого-то любит, от чего-то страдает, за что-то борется. В словесном искусстве мало сказать, надо доказать на деле, то есть показать средствами языка. Поэтому надо сказать так, чтобы содержание слов представилось «воочию».

Все эти поэтические смысловые представления, которые наслаиваются на логическую канву стихотворного смысла, входят в текст стихотворного произведения именно при помощи собственно языковых средств.

Мы упоминали о том, что в языковой системе части слов, звуковая оболочка слов — все чисто языковые элементы — самостоятельной смысловой функции не имеют. Каким же образом поэту удастся нагрузить смыслом несмысловые элементы языка? Эту возможность дает поэту результат взаимодействия словарных значений слов, не сами значения, о которых у нас шла речь, а те связи, те отношения, в которые они вступают, потому что связи и отношения между словами — смысловые элементы речи. Вот по-

чему в поэзии свободное соединение слов — закон, правило игры, если можно так выразиться.

При взаимодействии двух слов в стихе не только словарные значения вступают в игру, но сама звуковая материя слова и его языковые связи — то место, которое занимает оно в языковой системе. Подобно тому, как ударом камня о камень можно не только разбить камень на части, но и высечь огонь (и именно это драгоценно!), из столкновения двух слов, как двух камней, извлекается не столько третье значение (третий камушек), сколько драгоценная искра смысла; ей-то и принадлежит главная роль. Поэтому слово приобретает смысл только в контексте. Возникновение смысловой «искры» обусловлено сопоставлением в читательском сознании тех мест, которые отведены «столкнувшимся» словам в языковой системе.

В начале статьи приводилась цитата о слове в художественном тексте из книги В. В. Виноградова. Она была прервана для того, чтобы показать на примерах поведение слов общепринятого языка в условиях поэтического текста. Теперь мы приведем ее продолжение: «Его [слова.— *Е. Н.*] смысловая структура расширяется и обогащается теми художественно-образительными „приращениями“ смысла, которые развиваются в системе целого эстетического объекта. Выяснение этих новых смысловых наслоений, преобразующих и обогащающих семантический строй общепринятых слов, выражений, конструкций, композиционных систем речи, и составляет задачу науки о языке художественной литературы».

Мы рассмотрели несколько случаев возникновения смысловых приращений в слове поэтической речи. Наш вывод заключается в том, что приращения смысла получают речевое выражение посредством собственно языковых элементов. Поэт использует эти элементы в качестве дополнительных средств выражения к обычной языковой конструкции, состоящей из слов и предложений.

Поэтому в поэзии материал — не слово, а язык. Как для скульптора не существует груды рук, ног, носов и пальцев, которые были бы к его услугам для создания фигур, и его материал оформляется им с самого начала, так для поэта существует не выбор слов, а создание смысла в звуковой стихии через слово, посредством слова, несмотря на слово и вопреки готовому слову. Не метрическая организация — условие в поэзии, а слово.

Искусство пользуется своими условностями — они для него необходимы. Так и поэтический смысл налагается на словарные значения, преодолевая их, воспринимается в связи с ними и не может без них существовать.

Кажется, что речь поэтическая и обыденная, обе состоящие из слов, имеют слово своим общим свойством. На самом же деле главное их отличие состоит в различной природе слова.

Е. В. НЕВЗГЛЯДОВА
Ленинград

НАРОДНЫЙ РАССКАЗЧИК И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ В ПРОЗЕ И С ПЕСКОВА



Язык Лескова часто бывал предметом удивления, восхищения, а порой и осуждения. Некоторые критики видели в нем «гаерство» и «скоморошничество», «виртуозную искаженность». Ф. М. Достоевскому не нравилась манера Лескова «говорить эссенциями». Л. Н. Толстого поража­ло в Лескове «чудесное знание» языка, «до фокусов», однако и он отмечал в этом некоторую чрезмерность. О поразительном умении Лескова рассказывать — «плести нервное кружево разговорной речи», о мастерском перевоплощении его в самых разных рассказчиков с восхищением говорил М. Горький. Это необычайное, порой изощренное знание языка в сочетании со своеобразным представлением о натуре русского чело-

века позволило Лескову дать целую галерею оригинальных народных рассказчиков-краснобаев, «импровизаторов», «вдохновенных бродяг».

Форма повествования от лица народного рассказчика, обладающего своей особой социально-сословно или профессионально окрашенной речевой манерой, обычно называется сказом. Сказ, возникший в русской литературе в первой половине XIX века, получает затем распространение в разные периоды литературного развития, становясь иногда даже своеобразной модой. Проблема сказа давно привлекает внимание исследователей. Постановка и разработка вопроса о взаимодействии речевых линий автора, рассказчика и персонажей в сказовом повествовании

принадлежат в основном академику В. В. Виноградову (Этюды о стиле Гоголя. Л., 1926; О языке художественной литературы. М., 1959; Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963).

Лесков — признанный мастер сказа, и многие его произведения представляют собой особенно интересный, с точки зрения этой литературной проблемы, материал. В. В. Виноградов подробно анализирует один случай сказовых отношений образов рассказчика, автора и персонажей у Лескова на примере «Сказа о тульском косом левше и о стальной блохе» (О языке художественной литературы). Однако в творчестве Лескова встречаются и другие формы построения сказа. Они различаются как удельным весом слова автора и рассказчика в повествовании, так и их художественной функцией.

В середине и второй половине XIX века к сказу обратились многие писатели. Главным образом это связано, видимо, со стремлением отразить не только быт, этнографию, но и душу народа, особенности его мировосприятия, показать русского «простолюдина» изнутри, устранив из повествования все, что может быть привнесено посторонним взглядом человека, принадлежащего иной социальной среде. У Лескова, как и у многих его современников, сказ иногда безраздельно господствует в повествовании, так что на долю собственно автора остается лишь представление рассказчика читателю в начале и иногда заключение в нескольких словах.

Перед нами история орловского купца в рассказе «Грабеж». Здесь целое повествование организовано как сказ. Рассказчик, выступающий одновременно и главным героем, пе-

торопливо, обстоятельно, любовно повествует о своеобразном быте патриархального купеческого семейства, из которого он сам вышел, обо всем укладе жизни провинциального русского города с его кулачными боями, «подлётами», благоговейным отношением к религиозному обряду:

Я орловский старожил. Весь наш род — все были не последние люди ... Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли за людей честных. Отец мой скончался, когда мне пошел всего шестнадцатый год. Делом всем правила матушка Арина Леонтьевна при старом приказчике, а я тогда присматривался. Во всем я, по воле родительской, был у матушки в полном повиновении. Баловства и озорства за мной никакого не было, и к храму господню я имел усердие и страх.

Живая народно-разговорная стихия находит своеобразное выражение не только в лексике и фразеологии (не последние люди, рубля на полтину не ломали, баловства и озорства за мной не было), но и в построении фраз и более крупных повествовательных отрезков, а также во всем образном строе мышления рассказчика.

Речь купца эмоционально выразительна, насыщена яркими сравнениями, пословичными речениями, характерными словечками и оборотами: «У его дверей стоит молодой квартальный, князь Солнцев-Засекин. Роду был знаменитого, а талану неважного» (*талан* в значении 'судьба, удача' — традиционное народное выражение); «Я тебе дядя и старик, седых лет доживший» (*седых лет* — довольно необычный, но очень выразительный метонимический оборот); «Он как пригнется, бездельник, да как кот между нас шарк!.. Мы оба с дядей

так с ног долой и срезались»; «Нет, братцы, гусь свинье не товарищ: вы себе свой дуван дуваньте, а Ефросина не трогайте».

Иногда лексика и фразеология рассказчика несут явный отпечаток просторечной грубоватости: «Наш парод, говорят, шельма: все пронохает»; «Квартальный стал сказывать, что нонче, говорят, ночью у нас в городе произошло очень много происшествивев»; «А они к лерегии [религии. — *И. М.*] привержены и желамши слушать». А вот как, например, орловский купец рассказывает о силе и удали: «Если пятака три-четыре старинных в кулах зажму, то могу какого хотите подлёта треснуть прямо на помин души».

Столь же необычны образные сравнения рассказчика, неожиданные ассоциации, приемы сопоставления, казалось бы, совершенно разных явлений. Благодаря им рассказываемое становится видимым и слышимым, а повествование помимо воли рассказчика приобретает комическую выразительность: «Голос у него, я вам говорил, престрашный, даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит»; «А снег, как назло, еще сильнее повалил; идешь, точно будто в горшке с простоквашей мешаешь: бело и мокро — все облипши»; «И был тогда удивительный бас Струков, ужасного обличья: черный, три хохла на голове и нижняя губа как будто откидной передок в фазтоне отваливалась. Пока он ревет — она все откинута, а потом захлопнется».

Как правило, в сказовом повествовании речевые характеристики персонажей почти или полностью отсутствуют. Рассказчик и его герои обычно принадлежат к одному кругу, одной среде, и речь их похожа. Однако некоторые стилистические различия Лесков оставляет. Например,

«дяденька» Иван Леонтьич особенно нравится рассказчику своей лихой «елецкой развяжкой»: «Эх вы, ...воропы-сударыни, купчихи орловские! У вас и город-то не то город, не то пожарище — ни на что не похож, и сами-то вы в нем все как колпушки в коробке заглохли!.. Наш Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок...». В речи «святой богомолки-тетеньки» чувствуется связь с церковно-книжным стилем; мамея «причитывает причтою по горю-злосчастию».

Когда речь заходит о чем-то выходящем за пределы событий и предметов обыденного существования, о явлениях духовного порядка, рассказчик чувствует необходимость отойти от своей обычной манеры и стремится выразиться по возможности возвышенно, литературно, книжно. Это ведет к характерной для многих «простонародных» рассказчиков вычурности, утрированной искаженности литературных форм.

«Что вы это парня в бабьем рукаве парите!... Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера», — говорит о своем племяннике дядя. Племянник выражается еще более витиевато, желая выглядеть солидным и в то же время выразить почтительное отношение к дяде: «Это, дяденька, состоит не в том расчислении».

Просторечие и своеобразная ориентация на литературность постоянно сталкиваются у рассказчика, и в этом один из главных источников юмора лесковского сказа. Вот, например, как театрально в высокопарно-книжном стиле произносит свой монолог «дяденька», оскорбленный недоверием «сестриц»: «...и пусть над моим гробом вспомнят, что твой Мишка своего дядю родного в своем отечественном городе без родствен-

ной услуги оставил и один раз в жизни проводить не пошел...». Обилие определений, длинный период, конструкция с поставленными в конце фразы глаголами-сказуемыми — все это нагнетает тот пафос, которым слесцкий купец старается «пронять» своих боязливых сестриц.

В рассказе постоянно ощущается наивная простоватость рассказчика. Он вырос в старом купеческом семействе, воспитан «в страхе божием» благочестивой «маменькой» и старозаветной «тетенькой». Вся жизнь их наполнена постоянной заботой о том, как надежней сохранить свое добро от знаменитых орловских «подлётов». И вот по злой иронии судьбы дядя с племянником, отважно обороняясь от предполагаемого вора, так что тот кричит «Караул!», сами становятся грабителями. Всеобщее замешательство и отчаянье беспредельны, и рассказчик стремится передать всю драматичность ситуации:

Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб и уже не заплакал, а завыл. «Господи! Да кого же это я ограбил?» Маменька, тетенька, дядя — все испугались, прибежали, трясут меня: «Что ты, что ты? Успокойся! — Отстаньте, — говорю, — пожалуйста! Как мне можно успокоиться, когда я человека ограбил!»... Маменька так с ног долой и срезалась как стояла, так вскрикнула и на том же месте на пол села. Я к ней, чтобы поднять, а она гневно: «Прочь, грабитель!». Тетенька же только крестит во все стороны и приговаривает: «Свят, свят, свят!».

Однако чем простосердечнее эта исповедь рассказчика, чем искреннее его отчаянье, тем очевиднее становится комизм ситуации и анекдотичность всего происшествия. Всю свою историю купец начинает рассказывать в доказательство утверждения: «Как надойдет воровской час,

то и честные люди грабят!». Этому неожиданному началу вполне соответствует и весь юмористический настрой рассказа, который лишь усугубляется субъективно серьезным отношением рассказчика к своей истории. Так незаметно проникает в повествование автор со своим взглядом и оценками без единого слова авторского комментария и без всякого видимого вмешательства в повествование, целиком предоставленное рассказчику.

Наряду со сплошным сказом, лишь обрамленным авторским словом, у Лескова мы встречаем и более сложные композиционно-стилистические образования. Повествование в основном может сохранять литературный, обычно мемуарный, характер, рассказчик в нем отступает на второй план; однако его присутствие так или иначе ощущается в подтексте, в текст же проникают его отдельные словечки, выражения, оценки. В результате повествование может приобретать самые различные смысловые оттенки: от возвышенно поэтического до откровенно иронического. В таких сложных композиционно-стилистических построениях Лесков не знает себе равных среди своих современников.

Герой рассказа «Пугало» входит в повествование с репутацией разбойника, чародея, оборотня, и лишь постепенно в конце концов с него снимается покров зловещей тайны, и «пустой дворник» Селиван предстает в довольно обычном человеческом облике.

В начале рассказа всецело господствует мир народной фантазии. Здесь и своенравный водяной, «который заведовал нашими прудами, верхним и нижним, и двумя болотами», и «застенчивая непостоянная» кикимора в пыльном повойнике с золотушными глазами, прячущаяся в

пыльных заметах, и леший, который «иногда заходил к нам в густой ракитник, чтобы сделать себе новую ракитовую дудку и поиграть на ней в тени у сажалок». Причем о каждом из них рассказывается так убедительно, с такими бытовыми подробностями, что этим невольно ставится под сомнение их «волшебная» природа и коварно выдается вполне реальная основа якобы чудесных происшествий, о которых идет речь. В этом мире и Селиван предстает существом полуфантастическим, «кровожадным злодеем» и оборотнем, хотя о его жизни и общаются некоторые вполне реальные бытовые подробности.

Казалось бы, подробный литературный материал явно требует народного рассказчика, тем не менее повествователем почти неизменно остается автор-мемуарист:

Известно, что дьявол и его помощники имеют большую охоту делать людям всякое зло... Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая сила, то есть все лешие, водяные и кикиморы охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях. Помогающий чертям должен сам за ними последовать в ад, — рано или поздно, но непременно. Селиван находился именно на этом роковом положении. Чтобы кое-как жить в своем разоренном домишке, он давно продал свою душу нескольким чертям сразу, а эти с тех пор начали заговяты к нему на двор путников самыми усиленными мерами. Назад же от Селивана не выезжал никто... Куда их девал Селиван, — про то никому не было известно.

Дедушка Илья, договорившись до этого, только проводил по воздуху рукой и внушительно произнес: «Сова летит, лушь плывет — ничего не видно: буря, метель и... ночь матка — все гладко».

Не считая эффектного заключения, целиком принадлежащего рассказчику, а также некоторых выражений устно-разговорного характера (куда их девал Селиван), литературность повествования не вызывает сомнения. Возьмем, например, фразу: «Кто из людей помогает таким проискам, тому вся нечистая сила, то есть все лешие, водяные и кикиморы охотно делают разные одолжения, хотя, впрочем, на очень тяжелых условиях». Здесь и слова, и обороты, и синтаксис фразы в частях и в целом — все подчеркнуто литературно. То же и далее (жить в разоренном домишке, помогающий чертям, заговяты самыми усиленными мерами).

Вместе с тем в рассказе ощущается постоянное присутствие народного рассказчика с его простодушной верой в реальность нечистой силы и всего совершаемого ею. Писатель вспоминает и передает все слышанное им в детстве и в самом характере рассказа старается воспроизвести народное, а также собственное детское отношение к рассказам о проделках нечистой силы. Так Лесков совмещает точку зрения рассказчика с формой выражения автора-мемуариста. В результате народный рассказ предстает в иронически остраженной редакции. Еще более явно ирония проступает дальше в рассказах о том, как Селиван «скидывается»:

Один раз, когда он, скинувшись кабаном, встретился с кузнецом Савельем, который шел пешком из Кром со свадьбы, между ними даже произошла открытая схватка... Оборотень притворился, буд-то он не желает обращать на кузнеца ни малейшего внимания и, тяжело похрюкивая, чавкал железом; но кузнец проник острым умом его замысел, который состоял в том, чтобы пропустить его мимо себя и потом нанасть на не-

го зади, сбить с ног и съесть вместо желудка. Кузнец решил предупредить беду; он поднял высоко над головой свою дубину и так треснул ею кабана по храпу, что тот жалобно взвизгнул, упал и более уже не поднимался. А... Селиван опять принял на себя свой человеческий вид и долго смотрел на кузнеца со своего крыльечка... После этой ужасной встречи кузнеца даже была лихорадка, от которой он спасся единственно тем, что пустил по ветру за окно хинный порошок, который ему был прислан из горницы для приема.

Точно так же не дают спуску колдуну и другие. «Косой мирошник Савка, преудалый парень... действовал всех предусмотрительнее и ловчее», но и он «прискакал домой, не имея на себе лица от страха». А бапмачник Иван, «к его счастью, от природы был смел и очень находчив». Поэтому встретившись в метель с Селиваном, скинувшись на этот раз верстовым столбом, он «колынул его самым большим и острым шилом прямо в живот». Однако самое «страшное и вдобавок необъяснимое» было в том, что после того «несколько человек видели это шило торчавшим в настоящем верстовом столбе... Селиван же и после этого ходил по лесу, как будто его даже совсем и не кололи».

Чего достигает писатель столь необычным соединением литературного повествователя с народным рассказчиком? Лесков, конечно, мог все рассказы о чудесах вложить в уста, положим, дедушки Ильи и передать их его словами. Так делали многие его современники, например В. И. Даль, да часто и он сам. Но он предпочел иной путь, и благодаря этому рассказ его наполнился разнообразными акцентами и настроениями. Это в какой-то мере и искреннее увлече-

ние поэтической стихией народной фантазии: «Лесные родники осиротели бы, если бы от них были отрешены гении, приставленные к ним народною фантазией». Это и безмятежное погружение в мир своих собственных ранних детских впечатлений, и желание представить все с той степенью значительности и безусловной веры в чудо, какая свойственна в равной мере детскому и крестьянскому мирозерцанию.

Однако рассказ обо всех страшных и страшных происшествиях ведет уже взрослый автор, и он не в силах удержать при этом ироническую улыбку. А за иронической маской автора в рассказе, помимо фантастических существ и якобы чудесных ситуаций, возникает вполне реальный образ русского мужика — немного простоватого, немного хитроватого, то бесшабашно удалого, то варварски жестокого, задавленного темнотой и суеверием. Сколько времени борьба не на жизнь, а на смерть с вымышленным «пугалом» заполняла собой жизнь всей округи! Сколько понадобилось изворотливости и сообразительности, чтобы распознать все его таинственные превращения! Ведь даже когда Селиван «выкатился на улицу в виде нового свежевысмоленного тележного колеса и лег на солнце сушиться, то и эта его хитрость была обнаружена, и умные люди разбили колесо».

Этот лесковский мужик во многом сродни щедринским глуповцам, хотя рассказано о нем, пожалуй, более мягко, с юмором.

В дальнейшем повествовании в рассказе «Пугало» оборотень и душегубец Селиван уступает место реальному Селивану — человеку с трудной судьбой, во многом напоминающему других лесковских «праведников». Соответственно изменяется и стиль

Совсем уходит из повествования народный рассказчик: его взгляд, своеобразно преломляющий действительность, больше не нужен. Лишается своего объекта и авторская ирония. Тон повествования становится нейтрально литературным, мемуарным: «В дальнейшие годы моей жизни я сблизился с Селиваном и имел счастье видеть, как он у всех сделался человеком любимым и почетным».

Итак, перед нами прошли два разных образца лесковского стиля: в одном случае автор почти устранен из повествования, всецело отданного рассказчику, в другом — напротив, господствует автор-мемуарист, а слово рассказчика превращается в объект литературного пересказывания. Есть у Лескова и иные, промежуточные стилистические формы, когда линии рассказчика и литературного повествователя тесно переплетаются, автор и рассказчик как бы постоянно перобивают друг друга, и все повествование строится как словесная мозаика. Это часто придает прозе Лескова декоративность, орнаментальность, на которую не раз обращали внимание критики. Однако дело не только в этой внешней стороне. Многообразные формы лесковского сказа позволили писателю изобразить немало ярких народных характеров, в том числе рассказчиков, показать «то неуловимое, что называется душой народа» (М. Горький), и в то же время взглянуть со стороны на весь этот сложный самобытный мир народного самосознания, сделать его предметом не только сочувственного любования, но и трезвой объективной оценки.

Н. Г. МИХАЙЛОВА

Нижегородский диалект в повести М. Горького «Детство»

Борясь с засоренным литературно-языка, М. Горький очень ограниченно употребляет диалектную лексику, всегда поясняя ее литературными синонимами или контекстом.

Исследователи для выяснения диалектной принадлежности слова обращаются обыкновенно к областным словарям, а не к записям нижегородской речи, тогда как словарь языка М. Горького, отражающий живую нижегородскую речь, в ряде случаев обогащает литературные и областные словари. При составлении словаря языка М. Горького, этого «пословного комментария» к его произведениям, следует учитывать не только ближайший контекст, который уточняет «лежащий на поверхности» смысл слова, но и «большой контекст». Таков в повести «Детство», например, — нижегородский диалект, помогающий вскрыть «не сразу очевидный контекстуальный смысл слова» (Б. А. Ларин. Основные принципы словаря автобиографической трилогии М. Горького).

Некоторое представление о нижегородской речи на пороге XX ве-

ка можно получить из записей живой речи Нижегородского края, хранящихся в архивах АН СССР, Всесоюзного географического общества, Библиотеки Академии наук, в картотеках словарного сектора Института русского языка АН СССР.

Когда впервые читаешь эти записи, или, как озаглавлены некоторые из них, «этнографические разговоры», охватывает чувство, подобное, видимо, чувству посетителя Каширинского домика, — знакомы и лексический состав, и строй речи, и характерное «употребление общеизвестных слов в особеном смысле», по выражению Вердицкого, одного из собирателей местной лексики Нижегородского края. Здесь не лишним будет привести некоторые образцы подобных записей.

В «Этнографическом описании села Азрапина Лукояновского уезда Нижегородской губернии», составленном Вердицким (Архив Русского географического общества), встречаются такие объяснения ряда местных слов: *оскорбить* употребляется вместо литературного «прибить», *бóдрый* — «модный», *грубый* — «сердитый», *пóблый* — «послушный», *отважный* — «ласковый» и т. д. В Архиве Академии наук, в записях Нарбекова, приводятся такие местные слова: *опешить* в значении «устать», *злой* — «умный, хитрый», *отважный* — «приветливый», *разврат* — «ссора», *фрак* — «меховой воротник на женских теплых одежах».

В бумагах И. И. Срезневского хранятся подробные записи сельских бесед, где встречаем наборы рифмованных фраз — по образцу посло-

вид, парные соединения слов, обычные в фольклоре, но которые часто встречаются и в повседневной речи Нижегородского края. Эта особенность отражается и в манере жителей толковать слова. Так, нижегородец Бутурлин поясняет: *замятля* «спор-шум»; *зелье* «ловкий-лютый»: «Экой парень-то зелье!»; *краснобай* «говорящий ласково-аккуратно, но с лестью и коварством»: «Я знаю, он каков — краснобай»; *гоношить* «постоянно-старательно заниматься делом»: «Он все што-нибудь гоношит, то есть делает».

В одной из записей собеседник говорит: «То-та недосуги-то замяли, да мне, знать, будет тогда досуг, когда вон понесут». Даже самая, казалось бы, заурядная фраза, без парных соединений и без пословичных конструкций, часто наполнена тем своеобразием, которое может быть понято во всех своих оттенках лишь обладателю местного говора.

Вот «Разговор двух садовников со пчеловодцем»: «...лажу иногда пчел без нарожника, то я не потею, не сержусь, поступаю около пчел как можно тише и не махаю руками». Здесь, как будто, лишь один «явный» диалектизм специального, пчеловодческого, разряда — *нарóжник* «маска, сетка, надеваемая при уходе за пчелами», от *рожа*. Кстати, *рожа* в Нижегородчине — распространенное нейтральное слово, как *баба* во многих диалектах, которое лишь в литературном контексте приобретает эмоциональное звучание: «Да раздулась погода, да все в рожу, да в рожу, ... дорога ино выручит, а пно и выучит».

Но как своеобразно звучат в при-

веденной фразе литературные слова: ладить (лажу пчел), сердиться, поступать! *Ладить* в литературном языке означает 'приводить в порядок, в исправное, годное к употреблению состояние'. Чаще всего это значение используется по отношению к сельскохозяйственному инвентарю: *ложу борону, солу* 'чиню, исправляю, готовлю к употреблению'. В нижегородской речи (как и в некоторых других диалектах) действие направлено не на пассивный инструмент, а на живой 'инвентарь': «лажу пчёл».

Не погею, не сержусь — сердиться поставлено в один ряд с *погеть*, и в этом случае также трудно подставить литературное *сердиться* 'быть в состоянии раздражения, гнева' — тут скорее имеется в виду размеренность и невозмутимость движения.

Поступаю около пчел — поступать опять-таки своеобразно и не укладывается в схему литературного толкования, пересекаясь по смыслу с глаголом *ступать, ходить*.

Таких «семантических диалектизмов», лишь частично разошедшихся в значениях с соответствующими словами литературного языка, в нижегородских областных материалах — преобладающее количество. Не от этой ли характерной черты нижегородской речи ведет начало «изумляющее разнообразие смыслов» (К. Федин) горьковского слова?

Видимо, такие «частичные» диалектизмы легче входят в систему литературного языка, увеличивая смысловое разнообразие литературных слов. 17-томный академический «Словарь современного русского литературного языка» приводит слово

сомлеть с пометой «устарелое и просторечное» в значении 'упасть в обморок'. Одна из цитат — горьковская. В «Толковом словаре» В. И. Даля, в статье *млеть*, слово *сомлеть* зарегистрировано как диалектизм и именно в том значении, какое использует М. Горький. Ср. у В. И. Даля: «Она сомлела — упала в обморок» и в тексте «Детства», в сцене, когда больной оспой Алеша добрался с трудом до комнаты матери и «очутился... у бабушки на коленях»; «все вокруг куда-то плыло..., — сомлел, — сказала бабушка и понесла меня к двери. Но я не сомлел, а просто закрыл глаза».

Литературному языку слово *бой* в смысле 'нанесение ударов, побоев; избиение' известно лишь в сочетании *Бить смертным (смертельным) боем*. В свободном употреблении *бой* — действие по глаголу *бить* в значении 'наносить кому-нибудь удары, колотить кого-нибудь' — приводится только В. И. Далем, и также не в связанном, а в свободном употреблении использует это слово Горький в следующем эпизоде.

Максим «свататься привалил» к Акулине Ивановне, а дочь сообщила ей: «Мы, говорит, уж давно поженились, еще в мае, нам только обвенчаться нужно». Акулина Ивановна рассказывает: «Я Максима — по лбу, я Варвару — за косу, а он мне разумно говорит: „Боем дела не исправитишь“. И она тоже: „Вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться — после!“». Это значение слова *бой* с пометой «просторечное, областное» приводит «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова,

иллюстрируя цитатой из М. Горького: «Боем дела не исправишь!».

С расширительным употреблением литературного слова *сгінуть* сталкиваешься в таком контексте: Дед «дробно засмеялся, говоря: — Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!». Значение слова *сгинь* — ‘отойди прочь’ — в этом случае не совпадает с общелитературным (17-томный Словарь: «Сгінуть — 1) исчезнуть; 2) перестать существовать в результате уничтожения, разрушения; утратиться. Погибнуть, умереть»). Не случайно горьковское *сгинь* сопровождается пояснительным синонимом *пошел!* *уйди прочь!* — так делает М. Горький, когда хочет передать точный смысл вводимого в текст диалектизма. В записях нижегородской речи это значение засвидетельствовано: «гинь — отойди, напр., гинь ты от меня, т. е. уйди прочь!».

В конце повести «Детство» Язев отец утешает Алешу философским афоризмом: «И богату, и просту — всем дорога к погосту». Слово *простой* в этой фразе воспринимается как антоним к *богатый*. И здесь, как и во многих случаях, наблюдаем отход от литературных значений слова *простой* ‘заурядный, ничем не примечательный’ и приближение к областному употреблению. В пословице сохранено и характерное для нижегородской речи ударение *прóстый*.

Вводя «частичные» семантические диалектизмы в текст, автор ставит их в такие условия, что они, не ограничиваясь однозначным смыслом, но совмещая в себе раз-

ные планы и подтексты, приобретают символическое звучание: «В яме, где зарезался дядя Петр, лежал, спутавшись, поломанный снегом рыжий бурьян, — нехорошо смотреть на нее, ничего весеннего нет в ней, черные головни лоснятся печально, и вся яма раздражающе ненужна... Мне сердито захотелось вырвать, выломать бурьян, вытаскать обломки кирпичей, головни, убрать все грязное, ненужное...». Смысл наречия *сердито* в сочетании *мне сердито захотелось* близок к областному в конструкциях *Сердито взялся за работу* (псковское, тверское) — ‘упорно, с рвением’.

М. Горький сообщает семантическую полноценность словам, казалось бы, по природе своей безликим, невыразительным. *Эдак*, местоименное наречие, известное в литературном языке как просторечие, в трилогии М. Горького употребляется довольно часто. Исследователи горьковского языка относят его к числу «малозначительных» слов, нужных автору «для стилизации под народную речь». В архивных записях, в нижегородских «разговорах и беседах», часто встречается это пустопорожнее *эдак*. Входит оно и в устойчивое выражение *погóm эдак*, что значит ‘должно быть так’.

В речи бабушки так же, как и в Нижегородских записях, довольно употребительно это словечко, проносимое мимоходом и по шаблону. Однако есть фраза, хоть и составленная из местоименных наречий, но в то же время глубоко содержательная и драматичная. В сцене, когда дед вдруг, за утренним чаем, угрюмо объявил бабушке,

прожившей с ним полвека, о своем решении с нею расстаться, Акулина Ивановна ответила «малозначащими» местоименными наречиями: «Ну, что ж! Коли — так, так-эдак...». За этими в ряд поставленными, почти бессмысленными репликами кроется больше мысли и чувства, чем в звучных упреках, жалобах и брани. Делать таким многозначительным и выразительным столь «малозначащее» слово по силам лишь великому мастеру.

В ряде случаев вводя диалектизм в художественную ткань, автор обогащает его индивидуальными оттенками и переносными значениями. Так, в четырехтомном академическом «Словаре русского языка» учтен созданный М. Горьким оттенок значения диалектизма *разымчивый*. Этот диалектизм в Словаре В. И. Даля толкуется так: «Возбуждающий, забористый [в отношении хмельных напитков]. *Брага хмельная неразымчива*». Словарь Д. Н. Ушакова включил это прилагательное с пометой «областное и устарелое».

М. Горький, уподобляя действие музыки на человека действию вина, называет ее [музыку] *разымчивою*, то есть опьяняющей, очаровывающей. Это индивидуальное употребление зафиксировано словарями под редакцией Д. Н. Ушакова и четырехтомным как литературное и проиллюстрировано горьковским текстом.

«Тихонько пощипывая струны, он [дядя Яков] играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги». Далее описывается действие разымчивой музыки: наступила напряженная тишина, «музыка, вол-

нуя сердце, выманывала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаившись в задумчивом молчании».

Картина общего подчинения очарованию разымчивой музыки воскрещает и другой оттенок этого диалектизма, приведенный В. И. Далем в иллюстрации: *разымчивый сосед* 'разнимающий все ссоры и драки, не допускающий до этого'.

Иногда для толкования слова недостаточно опираться лишь на контекст, но полезно дать и историко-лингвистические сведения. Так, употребление слова *краюха* в тексте «Детства» не согласуется с данными словарей, но и не является индивидуальным, — просто словарями не учтено соответствующее местное название конкретной реалии. 17-томный Словарь объясняет, что *краюха* — 'большой ломоть хлеба, отрезанный от края каравая', то же в словаре Д. Н. Ушакова. В. И. Даль называет *краюхой* 'крайний отрезок, ломоть от края, хлебную горбушку'. *Краюшка* в этих же словарях — 'уменьшительное к *краюха*' (17-томный Словарь), 'небольшая краюха' (Словарь Д. Н. Ушакова), то есть в приведенных толкованиях *краюхой* обозначено то, что в Нижегородском крае, по материалам И. И. Срезневского, называется *кромá* 'небольшая часть печеного хлеба, ломоть или менее', а *краюшка* — по тем же записям, 'половина испеченного хлеба, нецелый хлеб'. В полном соответствии с нижегородским значением употреблено это

слово в «Детстве»: «Дядя Петр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье..., резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем...».

В рассказе бабушки — «сидит господь на холме под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом» — наречие *кругом* может восприниматься как литературное: «вокруг, со всех сторон» или «езде, повсюду (в данном месте, вокруг него)», тем более что и толкование В. И. Даля совпадает с толкованием словарей литературного языка. А между тем автор вводит наречие *кругом* в диалектном, временном значении, употребительном в языке фольклора: «постоянно, непрерывно», в данном случае — «круглый год». Расширение контекста делает вероятным именно это толкование: «нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы николи не вянут, так и цветут неустанно». Ср.: «Отправился (молодец) на свое место в сад и спит сутки кругом». В описании Колымского русского наречия, выполненном В. Г. Богоразом,

кругом также означает «постоянно, непрерывно»: «Так кругом и дерутся».

По-видимому, *сечь с навеса* и *сечь с оттяжкой* не индивидуально горьковские выражения, хотя в словарях литературного языка нет их специального толкования. Сочетание с *оттяжкой* встречается в произведениях А. Н. Толстого («полоснуть с оттяжкой». Петр I), К. Г. Паустовского («с оттяжкой отбрасывать лапами песок» — о собаке. Рождение моря) и у других авторов.

Выражение *с навеса* известно в военной среде (стрелять с навеса). Но в речь горьковских героев *сечь с навеса* пришло, вероятнее всего, из языка волжских водоливов и лощманов. В «Словаре волжских судовых терминов» С. П. Неуструева помещено сочетание *с навесу* как волжский термин. «Чтобы миновать опасных мест, они [лощмана] говорят: „Надо держать с навесу“, то есть прямо на такой-то предмет», так как навесом волгари называют рулевое весло, укрепленное специальным образом на больших судах.

ЧТО ЧИТАЛИ ДРЕВНИЕ ?



Се видѣвъ оуноши много книгъ коупаща и рече. не оу клиофики да клади, но къ перси.

Некто, увидя юношу, покупающего много книг, сказал: «Не на полку клади, а в душу».

Са къпросима коеѣ вина дѣла ины оучиша молчати, и самъ молчиша, онъ же рече и оула сама не рѣжючи оружие шугрига.

Некто, будучи спрошен, почему он других учит молчанию, а сам говорит, ответил: «И оселок сам не режет, а оружие точит».

М. Горький строго выдерживает лексические нормы нижегородской диалектной системы в повести; если литературное слово противоречит нижегородскому употреблению или чуждо ему, то автор избегает им пользоваться.

В записях нижегородской речи встречается *пошлый* в значении 'послушный'. Как же М. Горький использует его в «Детстве»?

Слово *пошлый* — 'низкий в духовном, нравственном отношении' — так, как будто, созвучно духу мещанской среды «Детства». «Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, харчами, нелепыми разговорами и никому не нужной условной добродетелью», — пишет А. П. Чехов в письме к А. С. Суворину (16 июня 1892). Казалось бы, рассказывая «про тесный душный круг жутких впечатлений», не обойтись без упоминания хотя бы о пошлости мещанства. А вот в «Детстве» этого нужного слова нет. Автор находит другие средства для разоблачения «тусклой, грязной, скучной серой жизни мещан. В этом отсутствии слова *пошлый* обнаруживается высокая степень точности владения народным языком.

В переписке М. Горького, в других его произведениях *пошлый* в литературном значении встречается, и неоднократно! Появится оно (один раз) и в повести «В людях», когда герой оказывается в другой среде, в другой языковой стихии. В «Детстве» языковое восприятие определяется речью окружающих героя носителей диалекта.

Так же умеренно употребляет М. Горький литературное *умереть*,

хотя картин смерти в повести много. В нижегородской речи глагол *умирать* имеет, помимо литературного, еще и областное значение — 'хворать, быть больным': «Я все што-то умираю». М. Горький ограничил время своего «Детства» двумя роковыми событиями: начало действия — смерть отца, конец — смерть матери. В этот момент уходит и детство героя.

Алеша смотрит на *уснувшее* лицо и слышит: «Помер он, голубчик», «отошел братишка-то», — говорит матрос; «Они Варвару-то *изведут* чего доброго», — предостерегает дед; «Хоть отдохай, хоть *издыхай*», — рассказывает он о бурлацкой жизни; «Господь все *брал да брал* ребятишек *в ангелы*», по представлениям бабушки; «а старенький отец Илья, слепой уж, по скорости после того *успел, скончался*»; «Дядя твой жену *на смерть забил, замучил*» и т. д. Литературное *умереть* встречается два-три раза в речи автора, дяди Петра, вочима и в афоризме: «Все умрем, даже птица умирает». И в этом неравновании литературных и областных синонимов опять-таки вскрывается верность писателя духу языковой стихии, окружавшей героев.

Стремясь к правдивому и точному изображению всего жизненного уклада описываемой среды, М. Горький тем не менее старается допустить как можно меньше явных диалектизмов. Из сокровищ народного языка он умеет выбирать наиболее ценное, отшлифовывает и обнажает сокровенные смысловые богатства, сообщая им новые блеск и силу.

Н. В. ПОПОВА
Ленинград



О книжной лексике у Шолохова

В отдаленное прошлое уходит своими истоками современная художественная речь. Она шлифовалась веками в былинном строе и в бытовом диалоге, в ритмичном ладе райка и в церковных проповедях златоустов-книжников. От жанрово-стилевой иерархии ломоносовской поры, элегантно-карамзинской прозы, романтических взлетов Марлинского, национально-русской афористичности крыловских басен шла наша речь к классически ясному, музыкальному и раскованному слогу Пушкина. Неисчерпаемое богатство художественного языка завешала современным писателям великая русская литература.

Усваивая эти традиции, каждый крупный мастер слова несет в литературе не только новые идеи, сюжеты и образы, но и, по удачному выражению академика А. С. Орлова, свою «композицию национального языка». В пределах этой «композиции» можно выделить, рассуждая несколько схематически, два речевых потока, тяготеющих либо к народно-разговорной, либо к книжно-литературной сферам. Это помогает яснее ощутить специфику экспрессивно-стилистических колебаний в разных типах повествовательной, монологической и диалогической речи произведения.

Книжно-поэтическое в языке Шолохова еще не привлекало специального внимания исследователей. В немалой степени это объясняется легко заметным своеобразием его языка. Шолохов, пожалуй, в большей мере, чем кто-либо из современных писателей, углубляет то русло демократизации языка литературы, которое проложили Пушкин, Гоголь, Л. Толстой. И это не подделка под народность, не коллекционирование экзотических «русизмов», не псевдостилизация, заметная в некоторых произведениях, особенно последних лет, — эстетические свойства коренной, народной русской речи стали достоянием его собственного авторского стиля.

В понятие «книжность» нередко (и во многом справедливо) вкладывают неодобрительный смысл, имея в виду обесцвеченную речь, лишенную ярких национальных примет. Еще чаще под «книжностью» разумеют высокопарность, штампованные красоты. Излишняя категоричность подобных оценок очевидна.

Изучение книжно-поэтической традиции в языке Шолохова интересно, во-первых, в плане истории языка художественной литературы, эволюции выразительных средств отчетливо книжного происхождения; во-вторых, такое изучение затрагивает самые принципы авторского словоупотребления, приемы словесного изображения.

Писатель использует церковно-библейскую фразеологию, лексические и морфологические архаизмы, штампы военно-официального красноречия, эмоционально-оценочные эпитеты, поэтизмы прежде всего в целях речевой характеристики персонажей или для стилизации повествования. Такое употребление наблюдается часто в языке литературы. В шолоховском повествовании также не расходятся с традиционным сочетание торжественно-риторической лексики и фразеологии со словами и оборотами бытового, просторечно-разговорного плана. Стилистические контрасты вызывают яркий комический или сатирический эффект.

Книжные, преимущественно старославянские формы сообщают повествованию тон торжественности, пафоса, высокой гражданственности. Эти высокие книжные формы в совокупности с другими словесно-изобразительными средствами нередко выполняют у Шолохова и функцию поэтизации, возвышения картин природы. Они остро подчеркивают лирико-эпическую мощь и одухотворенность шолоховских пейзажей, настроенных в лад с сокровенными мыслями и переживаниями героев. Но этими уже разработанными в русской литературе приемами далеко не исчерпываются функции книжной речи в языке писателя.

В авторском повествовании традиционные средства выражения обретают новое смысловое содержание и свежую изобразительную силу. Это еще раз подтверждает активность процесса стилистической «перегруппировки» слов в языке художественной литературы. Наблюдается смысловое и стилистическое разграничение книжных элементов речи. Например, слово *прах* представлено в двух значениях. В стилизованном описании древнего могильного кургана оно выступает как риторическое в значении 'человеческое тело после смерти, труп, пепел': «... но курган всё так же нерушимо властвует над степью, как и много сотен лет назад, когда возник он над прахом убитого и с бранными почестями похороненного боловецкого князя...» (Поднятая целина). В других контекстах ему присуще старое предметно-вещественное значение 'пыль, порошок', которое во многих лексикологических исследованиях отмечается как несомненно архаичное: «Давыдов полез в кармаи, достал черный, как прах, платочек...».

В языке «Поднятой целины» параллели *прах* и *пыль* чередуются так же, как синонимы разной стилистической окраски. Совпадение контекстов их употребления свидетельствует о смысловой равноценности параллелей: «...и долго кружился по шляху легкий вешний прах...»; «Под лошадьми их легкими призрачными дымками вспыхивали клубы вешней пыли...». Выбор торжественного синонима можно объяснить стилистической тональностью описания в конкретной сюжетной ситуации романа. Слово *прах*, эмоционально усиливая, поэтизируя пейзажную картину, несомненно сливается с следующей, напряженной по интонации, лирически-тревожной экспозицией к воспоминаниям Андрея Разметнова о своей безрадостной жизни, о трагической смерти жены.

В древнем, исконном значении употребляет Шолохов и глагол *попирать*, и он не воспринимается как архаичный: «Высокий, одетый в одну легонькую защитную тужурку, [Митька.— А. С.] попирал раскачкой хуторские улицы...» (Тихий Дон); «Разномастные лошади попирали копытами мягкую степную землю...» (Поднятая целина).

Своеобразие шолоховского словоупотребления раскрывается в так называемой стилистической нейтрализации и торжественно-книжных слов и оборотов. В авторском повествовании книжно-поэтическое слово как бы «очищается» от традиционных эмоциональных наслоений и усиливается его конкретный смысл. Видимо, не случайно здесь наблюдаются неметафорические, предметные сочетания, в которых книжное слово сохраняет достаточно прозрачную внутреннюю форму и живые словообразовательные связи. Примером может служить употребление глагола *разверзнуть(ся)*: «Совещаются,— подумал Петро, и снова пот, словно широко разверзлись все поры тела, покатылся по спине его, по ложбине груди, лицу...», «Он бережно прижимал к разверстому животу запачканные кровью и землей ладони» (Тихий Дон).

В первом примере глагол *разверзлись* воспринимается как «сильно и внезапно раскрылись». Причастие *разверстый* соотносимо, хотя и не равно по смыслу, с глаголом *разворотить*, который дается в предшествующем описании: «В первом же бою ротмистру Горчакову осколком трехдюймового снаряда разворотило внутренности».

В сочетании с существительным *рот* слово *разверстый* включается в многочисленный синонимический ряд. Смысловой градации синонимов сопутствует и разная степень их эмоциональной интенсивности, при этом указанное причастие близко по окраске к нейтральному *раскрытый*: «...бегут с винтовками наперевес люди в ушастьях шапках, с безмолвно разверстыми ртами» (Тихий Дон).

Не менее интересно в этом плане использование глагола *ниспадать*, который многие исследователи включают в разряд возвышенных слов. Как показывает полная выборка примеров употребления этого глагола в романах Шолохова, глагол *ниспадать* свободно сочетается со словами широкой и довольно пестрой предметно-тематической группы (солнечные *лучи*, *громеда* облаков, *огонь*, *рог*, *волосы*, *морицины*) и во всех отмеченных контекстах лишен повышенной экспрессии, стилистически нейтрализуется.

Стилистическая нейтрализация книжных элементов заключается, следовательно, в том, что книжное слово выходит за пределы специфических для него контекстов, расширяет сочетаемость и, внедряясь в нейтральные словесные ряды, утрачивает полностью или частично выразительные свойства. Подобные книжные слова в известном смысле «безразличны» к содержанию произведения в целом, не закреплены за сюжетно значимыми или кульминационными ситуациями. Художественная ценность этих речевых форм заключена в смысловой новизне их восприятия, в самой свежести, остроте и точности частных авторских словесных изображений и обозначений.

Заметна в шолоховском языке тенденция к стиранию резких граней высокого и нейтрального стилистических пластов. На этой почве оформляется синтезированная повествовательная речь, в которой «тонкая игра стилями» (Л. Щерба) не нарушает «равности» слога,

а книжные образования, чуть заметно окрашивая текст повышением тональности, плавно перемежаются с контрастными по экспрессии формами речи. Например:

Счастливицы, которым комиссия определила выдать одежду или обувь в счет будущей выработки, прямо на абмарной приклетке телешились и, довольно крикая, сияя глазами, светлея смуглыми лицами от скупых, дрожащих улыбок, торопливо комкали свое старое, латаное-г-релатанное веретье, облачались в новую справу, сквозь которую уже не просвечивало тело (Поднятая целина).

Эта выразительная картина полна бытовых реалий, насыщена действием; в точной, приближенной к объекту изображения обрисовке группового портрета схвачено настроение бедноты, и в интонации, в подчеркивании деталей легко уловить явное авторское сочувствие.

Цельности восприятия этого отрывка не мешает его стилистическая пестрота. Фраза вместила и сухой оборот официального постановления (Комиссия определила выдать одежду или обувь в счет будущей выработки), и просторечное *латаное-перелатанное*, и донское *телешились*. В коротком описании имеется синонимический ряд, составленный из нейтрального литературного *одежда* и более конкретных по смыслу оценочных народно-диалектных параллелей *веретье* и *справа*. И здесь же книжно-торжественное слово *облачались* (облачались в новую справу). Подобное сочетание непривычно, нетрадиционно. Но мы не ощущаем резких стилистических контрастов, и единый эмоциональный тон описания, отвечающий идейно-художественному смыслу отрывка, поддерживается легко, без напряжения.

Вчитаемся еще в один отрывок:

Знать, еще горела тихим трепетным светом та крохотная звездочка, под которой родился Григорий; видно, еще не созрела пора сорваться ей и лететь, сожигая небеса надучим холодным пламенем. Три копия были убиты под Григорием за осень, в пяти местах продырявлена шинель. Смерть как будто заигрывала с казаком, овевая его черным крылом (Тихий Дон).

Перед нами истинно шолоховский образец синтезированной повествовательной речи, и трудно анатомировать эту классическую, литую прозу. Неволяно вспоминаются слова А. В. Луначарского о шолоховском мастерстве: «рвущееся вперед содержание одето в прекрасную словесную образную форму». Своеобразие отрывка — в тонком поэтическом обновлении, развертывании книжно-риторических фразеологизмов с опорным словом *звезда*, понимаемых как предначертанное роком счастье, предопределение судьбы: «Родиться под счастливой звездой», «Звезда (чь-либо) закатилась». Фразеологический оборот *Родиться под счастливой звездой*, сохраняя свой смысл, включается здесь как свободное сочетание. Нарушается его лексико-грамматическая целостность, порядок следования компонентов; привычное сочетание *счастливая звезда* подается в иной по структуре словесной оболочке, наполняясь более конкретным, эмоционально свежим содержанием (*горела тихим трепетным светом та крохотная звездочка...*).

Но если в этом примере всё же заметно расширение состава оборота, то в следующей части предложения уже ощущается не целостная фразеологическая единица, а лишь общий образный отпечаток ее содержания, «подпочва»: «видно, еще не созрела пора сорваться ей и лететь, сожигая небеса падучим холодным пламенем». Языковым фоном здесь служит выражение *Звезда закатилась, погасла*, но и угадывается след поэтического устарелого оборота *звезда падучая*. «Ах, как быстро молодость моя звездой падучею мелькнула», — писал Пушкин. Впрочем, у Шолохова встречается это сочетание и в обычном, неметафорическом смысле: «Воронье небо полосовали падучие звезды» (Тихий Дон). Из этого сочетания и возник метонимический перенос значения (падучим холодным пламенем).

Отметим также разговорно-просторечные вводные слова с наречием *еще* (знать, еще...; видно, еще...), которые скрепляют все предложение; а затем энергичную смену ритма и интонацию сказового перечисления (Три коня были убиты под Григорием...). Обратим внимание на концовку, где опущено слиты романтически-гоголевская и устно-поэтическая традиции: «Смерть как будто заигрывала с казаком, овеяв его черным крылом».

Разные стилевые потоки впитала в себя и переплывила шолоховская проза. Синтез, варьирование, взаимопроницаемость книжных и народно-разговорных элементов открывают неисчерпаемые возможности словесного выражения и изображения в авторских текстах, различных по эмоциональной окрашенности и идейно-художественному смыслу. Повествовательная авторская речь содержит и такие примеры, когда в употреблении одного и того же слова или выражения можно установить воздействие и книжно-поэтической и фольклорно-бытовой традиции.

В этом смысле интересно использование книжно-поэтических средств языка при обрисовке центральных характеров «Тихого Дона». Рассказывая о стареющей Аксинье, Шолохов вводит поэтическую перифразу *осень жизни*, восходящую к книжно-романтической традиции:

А Аксинья, как только пришла домой, опорожнила ведра, подошла к зеркальцу... и долго взволнованно рассматривала свое постаревшее, но все еще прекрасное лицо. В нем была все та же порочная и маяющая красота, но осень жизни уже кинула блеклые краски на щеки, пожелтила веки, впряла в черные волосы редкие паутины седины, притупила глаза. Из них уже глядела скорбная усталость.

Сочетание *осень жизни* в известной степени утрачивает свою риторичность, так как соотносится не только с романтическим штампом, но и с народно-поэтическим, бытовым восприятием слова *осень*. В фольклоре, в народном поэтическом сознании «осень» всегда была символом увядания, угасания, наступающей физической и духовной старости. Погребальный звон на похоронах Аникушки вызывает у Пантелея Прокофьевича такие размышления: «И что проку от этого звона? Только разведредят людям сердце да заставят лишний раз вспомнить о смерти. А о ней *осенью* и без этого *всё напоминает...*».

В «Тихом Доне» мы встретим и образно-синовимическое развертывание слова-понятия *осень*. Набрасывая портрет Ольги Николаевны Горчаковой, «тургеневской» женщины, Шолохов скажет: «И в ладной фигуре ее и в лице

была та *гаснущая, ущербная* красота, которой неярко светится женщина, *прожившая тридцатую осень*.

Традиционный метаморфический смысл еще более заостряется в производном от слова *осень* прилагательном с оттеночной качественно-психологической семантикой: «В зале утих шум, в установившейся тишине зазвучал низкий, *осенне-тусклый* тембр атаманского голоса».

Вернемся к исходному примеру. Сочетание *осень жизни* воспринимается не риторически-отвлеченно, а содержательно, образно-предметно, во-первых, потому, что в шолоховском словоупотреблении как бы сливается в единый символ фольклорно-бытовое и книжно-поэтическое использование опорного слова перифразы; во-вторых, потому, что в современной художественной литературе и в романе «Тихий Дон» этот словесный образ находит поддержку в виде словообразовательных и синонимических вариантов; в-третьих, потому, что в самом процитированном отрывке реалистический план метафоры доводится до конца, развертывается в жизненно достоверных деталях: «Осень жизни... пожелтела веки, впряла в черные волосы редкие паутинки седины, притушила глаза».

Какова же эстетическая целесообразность отмеченного сочетания? Мотив «увядающей красоты» все настойчивее звучит в шолоховском рассказе об Аксинье. В развитии этого мотива «осень жизни» воспринимается как одно из выразительных и точных словесных звеньев. Возникает та сцепленность, согласованность изобразительных средств, которая и формирует у читателя цельное художественное впечатление: это и контрастные по смыслу, связанные противительно-ограничительными отношениями определения: «...*поставшее*, но все еще *прекрасное* лицо», «*яркие*, но *блекнущие* губы»; и сочетание, основанное на столкновении контрастных понятий: «поздно улыбнувшееся ей *горькое* бабье счастье»; и восклицание, утвердительный смысл которого подчеркнут усиленным отрицанием: «Нет, не отцвела еще ее красота!»; и памятный всем образ «вспыхивающего под солнцем слепящей пленительной белизной» ландыша, которого «уже коснулся смертный тлен», цветка, недолгой, но красивой жизнью намекающего на судьбу Аксиньи.

Весьма существенно еще раз подчеркнуть собственно стилистические качества перифразы *осень жизни*. В ней, как в реликте старой образно-поэтической системы, все же сохраняется некий романтический ореол. История языка художественной литературы свидетельствует, что сочетание *осень жизни* и ему подобные (весна жизни, вечер жизни, лампада жизни и др.) настолько тесно связаны с традиционным фондом поэтической фразеологии в целом и с романтической культурой слова преимущественно, что и в современном литературно-художественном словоупотреблении этот специфический эмоциональный отблеск не может окончательно выветриться, угаснуть.

Романтические краски в изображении Аксиньи не исчерпываются этой перифразой, они различимы и в портретных описаниях, и в тонко обрисованной сфере чувств и душевных порывов. Своеобразие шолоховского употребления книжно-романтических слов и оборотов заключается в том, что они, сохраняя в известной степени романтическую приподнятость и традиционность, вместе с тем семантически содержательны, характеристичны, вырази-

гельны, так как воссоздаются в предметно-бытовом контексте и нередко очень близки к фольклорным словесным образам.

Духовная суть характера Аксиньи, пожалуй, наиболее точным словом выражена в одном из воспоминаний Григория: «А за валами гребней, за серой дорогой — сказкой голубая приветливая страна и Аксиньина, в позднем, мятежном цвету любовь на придачу». Здесь книжно-романтическое по природе слово сохраняет свое обычное значение 'тревожный, мятущийся, беспокойный, бурный'. Но чуть заметный сдвиг в сочетаемости вырывает это слово из плена шаблонного сочетания *мятежная любовь*. Свежий эпитет (в позднем мятежном цвету любовь) обновляет значение слова, вызывает иные образные ассоциации (*в цвету*, то есть в период цветения, обычно в выражениях *сад в цвету*, *яблоня в цвету*, *земля в цвету* и т. д.).

Особый речевой тон образа Аксиньи создает, говоря словами Пушкина, этот «страстей язык мятежный». В составе речевых средств изображения Аксиньи можно выделить следующие приметы романтического стиля: эмоционально-психологическую лексику, обозначающую внутреннее состояние человека, его чувства и настроения; сочетания с качественными прилагательными и наречиями субъективно-оценочного свойства, напоминающие «неистовый» романтический стиль; традиционные метафоры, эпитеты, перифразы; свойственное романтической манере письма сгущенное, иногда гиперболическое изображение страстей и переживаний.

В следующем отрывке нетрудно выделить некоторые из этих существенных признаков:

Тревога за жизнь любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, изведывалась и ночью, и тогда то, что копилось в душе, взвнузданное до времени волей,— рвало плотины: ночь, всю дотла, билась Аксинья в немом крике, в слезах, кусая руки, чтобы не разбудить ребенка, утишить крик и нравственную боль убить физически.

**ЧТО
ЧИТАЛИ
ДРЕВНИЕ
?**



Он былта мегарийский философ. Дмитрию же царю взвземзшю участько него, на разхущение вздавзшю, ниже того философа плтнша прикедоша и предз царя, и взпроси него, аще что взали оу него коины, онз же рече. моего не взали ничтоже, мое во стажанане моудростя иста и оучение, еже вз мнѣ шва иста.

Был в Мегарии философ. Когда царь Дмитрий занял его отечество и отдал на разграбление, взяли в плен того философа и привели к царю. Царь спросил: «Что взяли у тебя воины?». Тот ответил: «Моего ничего не взяли: ведь мое богатство — мудрость и знание, и они оба во мне».

И ритмо-синтаксическая организация отрывка, и напряженная экспрессия слов и сочетаний в большей мере соответствуют не разговорно-бытовому строю речи. Эмоционально-психологическая лексика употребляется здесь по существу традиционно. Происходит персонификация отвлеченного понятия 'тревога' в рамках перифразы, усложненной синонимическим повтором: «тревога за жизнь любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, наведывалась и ночью...» (ср. типичные перифразы *страх обнял, охватил ужас* и др.). Обратим внимание на экспрессивный эпитет *немой*, гиперболические сочетания отчетливо книжного характера *взнузданное волей, рвало плотины*.

Слияние традиций книжно-поэтического и фольклорно-бытового языка раскрывается в авторском употреблении наиболее устойчивых поэтических штампов, построенных на вариациях метафорического образа *пламени, огня, жара, пожара*. Шолохов интенсивно использует этот поэтический ряд и при изображении различного рода чувств, переживаний, чаще всего любовной страсти, и для обозначения блеска глаз, румянца, вообще яркой красоты Аксиньи как внешних проявлений «внутреннего» горения.

Несомненно, поэтическое очарование характера Аксиньи, его редкое по эмоциональной лирической силе воздействие на читателя во многом объясняется умелым авторским освоением традиционных выразительных средств языка. Повышенная тональность многих шолоховских описаний будет особенно заметна, если попытаться, разумеется условно, «перевести» их на нейтральный язык:

«Знакомый звук Аксиньиной поступи».

Знакомые шаги Аксиньи.

«Он ждал, что лицо Аксиньи будет отмечено волнением».

Он ждал, что лицо Аксиньи будет взволнованно.

«Но и во сне постигал ее призрачный зов ребенка».

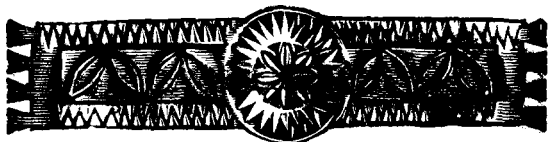
Но и во сне ей казалось, что кричит ребенок.

Опыт Шолохова в использовании книжного слоя лексики и фразеологии убедительно подтверждает важную стилиобразующую роль и изобразительную ценность книжных средств языка, с которыми связано представление о высокохудожественной, образной литературной речи.

Разговор о книжно-поэтическом в языке Шолохова (разумеется, далеко не исчерпывающийся изложенными наблюдениями) выходит за рамки его писательского опыта. Эта тема связана с изучением сложного процесса демократизации языка современной литературы, с анализом стилевых течений современной советской прозы.

А. Я. СКПИДЛО,

доцент Хабаровского пединститута



Вопрос о соотношении и взаимодействии устной, народно-поэтической, диалектной речи с одной стороны и нормативной с другой — одна из наиболее спорных проблем современного литературного движения.

«Русская речь» уже обращалась к этой теме, предоставив свои страницы писателю Василию Белову (№ 2, 1969), статья которого нашла живую отклик у наших читателей.

Публикуемая в этом номере статья ленинградской поэтессы Майи Борисовой посвящена той же проблеме. М. Борисова пишет о трех поэтических сборниках, тем не менее статья ее — это отнюдь не рецензия, т. к. в ней идет речь о различных типах отношения поэта к фольклорной традиции. Редакция продолжит разговор о языке современной поэзии в следующих номерах журнала.

Н а р о д н о е к р а с н о с л о в и е

Самородное, исконно русское слово, речение, старинные устные формы творчества: былины, песни, припевки, присловья — издавна были для русской литературы, особенно для поэзии, неисчерпаемым источником, драгоценным кладом.

Повысившийся в последнее время интерес к русской истории, культуре, архитектуре создал для поэтов аудиторию, очень чутко и доброжелательно принимающую фольклорные тенденции в их творчестве. Повторяется в своем роде ситуация старой сказки, где царь, избалованный и пресыщенный изделиями искусных поваров, с жадностью набрасывается на простую горькую луковку с мужицкого огорода. «Намек» сказки тем более справедлив, что луковка не только остра на вкус, но, как выяснилось позже, богата необходимыми для жизни витаминами.

Итак, перед нами три стихотворных книжки. Даже если судить только по названиям, видно, что автор каждой из них отчетливо сознает в своем творчестве народные мотивы. «Аленушка» (М., 1967) — так называется книга Ольги Фокиной, «У песенных родников» (М., 1968) — Николая Леонтьева, «Сердолик» (М., 1967) — Ивана Лысцова. Далее мы увидим, насколько точно названия отражают специфику сборников.

Однако почему именно эти книжки привлекли наше внимание? По той при-

чине, что они воплощают в себе как бы три способа проникновения фольклорно-разговорной лексики и устных жанров в книжную поэзию. Эти три способа не исчерпывают, разумеется, все возможности такого синтеза (или симбиоза), но, на наш взгляд, они весьма показательны для общего положения.

Итак, первая из рассматриваемых книг поименована «Аленушка». То есть книга, как человек, наделена ласковым, сказочно-простонародным женским именем. И как в современном человеке зачастую сочетается деревенское происхождение с городским образованием, увлеченность «проклятыми вопросами», выдвинутыми цивилизацией, с любовной приверженностью к несколько патриархальным формам деревенского бытия, так и в книжке Ольги Фокиной исконная, диалектная лексика нерасторжимо связана с понятиями и словами, рожденными современностью.

Этот сплав делает сборник чрезвычайно убедительным психологически. По нему не хуже, чем по экономическим исследованиям или социологическим анкетам, можно изучать, как живет и о чем думает житель Вологодчины, как утверждаются в его быту не только новые вещи, но и новые отношения.

Подарю часы золовке,
Платье шелково — свекровке...
Ты, свекровка-матушка,
Не стучи ухватушком,
Я — твоя подставушка,
Я люблю Степанушка!

Так скажет Ольга Фокина в стихотворении «Присказка». И древняя песенная ситуация прорастет вдруг новой, могучей смысловой ветвью: самым веским аргументом в пользу будущей невестки станет не богатство, не красота и даже не хороший характер, а то, что она любит того, кого так обаятельно называет «Степанушко».

В стихотворении «Бабушка», где речь пойдет об одном из величайших завоеваний современности — о полетах в космос (конкретно — о космонавте Павле Беляеве), эти полеты предстанут перед нами явлением глубоко народным, укоренившимся уже в сознании не только ученых и инженеров, но и полуграмотной деревенской старухи.

Ведь баюкала в Рослятине
Пашку...
Осподи, прости!
...Да уж-ко аккуратнее
Телевизор-то крути!
Сделай ярче-то да зорче-то!
Ой, внучок! Смотри-ка ты:
Голова у Павла — в обруче,
Ровно лики у святых!

В лучших стихах О. Фокинсь достоверность слова постоянно подкреплена достоверностью быта, настроения. В поэме «Аленушка» есть следующие строки:

...А у мамы дома — баня!
И сегодня — даже с мылом!

Это *даже* — естественно и неизбежно; человек, знающий деревню извне, со стороны, не способен так написать о ее трудном повседневном быте.

Впрочем, умение глядеть и видеть, если не со стороны, то во всяком случае взглядом выбирающим и оценивающим, тоже имеет свои несомненные достоинства. Убедительное подтверждение тому — последняя поэтическая книга известного прозаика, поэта, фольклориста Николая Леонтьева. Ее принципиальное отличие от «Аленушки» — явственно. Для Ольги Фокиной живой язык северной деревни — язык свой, разговорный. Как вышивальщицы бисером настилали узор, уже не думая о том, что и каждая бисеринка сама по себе есть произведение мастерское, так и Фокина вяжет в «строку» и обиходные, и песенные, и городские, и сельские «лычки», вяжет, как вяжется, и в этой естественности — одна из притягательных сторон ее таланта.

Николай Леонтьев же в этом деле — знаток, ценитель, накопитель. Он приходит к кладам «песенных родников» для того, чтобы вынести их сокровища на свет, да не просто вынести, а отобрав, огранив, соединив их так, чтобы ярче сверкали, краше выглядели. Отсюда и благоговейное удивление: «где в своем красноречье народ речевые узоры берет?», и понимание святой необходимости «и хранить, и для внуков беречь самоцветную русскую речь».

Как правило, автору удается заставить читателя еще и еще раз подивиться красочности и сочности северного припечерского говора, поэтичности песен, озорству и складности прибауток. Диалог юной пары из стихотворения «За деревней» напоминает о традиции вопросов-ответов в старинных играх, хороводных песнях.

— Юны годы минут скоро,
Их немножко впереди...
— Ой, не вдруг, милой, под гору —
С поноворочкой иди!..

.
— Я промолвлю тайно слово,
Очи ясны подыми...
— Вот пристал, смола елова,
Ну, целуйся, не томи!

Искусно сплетает поэт слова в стихотворениях-песнях «Девичья», «Свекрова», «Тещина», «Говоря», «Хорохорочка»:

Ты упрямитесь не стала,
Полюбила, не тая,
Хорохориться не стала,
Хорохорочка моя.

Уверенное владение народным словом, глубокое знание законов народного творчества и диктует, видимо, Н. Леонтьеву заботу о том, чтобы богатства «самоцветной русской речи» использовались не суетно, не поверхностно.

Сам поэт смиренно просит родимую страну пустить его «песню-гостью» в свое многоголосье. Его герой Матвей Перегуда представляет таких же, как сам, «краснословов»:

Говори кругло да ладно,
Речью бей, казни, ласкай,
И с иголочки, нарядной,
Думу в люди выпускай!

И уже откровенно тревожные ноты звучат в стихотворении «Фольклорист», где собеседник автора долго «дифирамбы пел во славу песенных профессий, не внемля, как через купе двинских девчат звенели песни».

Разумеется, небрежное отношение к слову или бережное, но чересчур книжное его усвоение составляют вполне реальные опасности и в практике поэтов, обращающихся как к материалу к устной народной речи.

Но не менее опасна и другая крайность: безоглядная уверенность в самоценности каждого диалектного слова, убежденность в том, что куда и как ни пришей этот самоцвет, наряд «думы, выпущенной в люди» только выиграет. Надо сказать, что эту мысль как будто несколько опровергали первые печатные выступления поэта, о котором речь пойдет ниже, Ивана Лыцова. Любителям, несомненно, памятно появившееся в одном из московских «Дней поэзии», а затем открывшее книжку «Благодарствую, жизнь!» (М., 1966) стихотворение «На Заманном лугу».

Истинной красотой, покоем и величием веяло от нехитрого рассказа о стаде, которое пасется «на Заманном лугу, под большим рассыпчатым солнышком». Самое необычное заключалось в том, что стихотворение почти сплошь состояло из перечисления названий деревень, речек, луговых трав, коровьих кличек и именотчеств доярок. И эти невдуманные «имена собственные» излучали такой свет истинной поэтичности, что связующая их авторская речь, действительно, почти свелась к роли нити, на которую низались самоцветы.

На Заманном лугу, под одним вислым облаком,
Между речек:

Верчунья, Снова,
Семинаха, Кривка и Нашенка,
Аленушкина коса, Волхова,
Локотцы, Бай-волна и Любашинка...

Многие стихи из книги Ивана Лыцова «Сердолик» снова и снова подтверждают благотворность разумного доверия к простому народному слову.

Но — и здесь возвращаемся к тезису об опасности «другой крайности» — доверие не должно быть безоглядным, а слово должно быть понятным без погружения в дебри специальных словарей. Непривычное глазу и слуху, оно ясно должно являть свой смысл в контексте. Но вот мы читаем:

В баенке без бабушки
Зябко голышам.
Было бы с кем в ладушки
Няться малышам.

Глагол *нять* — одна из форм глагола *имать*, то есть ‘брать’, ‘ловить’, ‘собирать’, но никак не ‘играть’, ‘забавляться’, как то следует из содержания фразы.

Говорил: красава, хочешь,
Я из солнечья лучья
Перстенок солью молодчий,
Если ты еще ничья?

Но ведь *молодчий* — это почти то же, что *молодецкий* (во всяком случае, в общерусском языке), то есть ‘удалой’, ‘храбрый’. Сказать так про перстенок, слитый (кстати, кольца не сливаются, а отливаются) из «солнечья лучья» — значит ничего про него не сказать.

«Поуронили слово русское! И то, которое в ходу, оно в плечах такое узкое, что не узнать и на виду», — сетовал Иван Лысцов в книге «Благодарствую, жизнь!».

В «Сердолике» немало строф, где разбег поэтической речи широк необычайно, почти безудержен. Но быстрое движение тем более требует синтаксической устойчивости, точного места для каждого слова. Иначе происходит следующее:

И раздались глыбистые плечи,
Целый год к каким не припадал
Рот девичий в полымястой речи
В миги,
взор во взор

когда впадал....

Сеностав

Или

Мягкок зашумья малиновым звоном
В беглых пупырьях хмелинок медок.
— Пять уж десятков и дышим озоном,
С каждою пчелкой в задружье, милон.

Пасека

Смысловую и грамматическую невнятицу приведенных выше строф не спасают песенно-диалектные «миги», «пупырьи», «задружье» и «милон».

Языковые издержки неминуемо оборачиваются издержками смысловыми. Это легче всего проследить, взяв для сравнения из

РЕЧЬ В КИНО

Продолжая начатый в № 2 с. г. разговор о языке кинофильмов, редакция обратилась к представителям основных кинематографических профессий, которые определяют речь фильма, со следующими вопросами:

1. Не думаете ли Вы, что киносценарий должен быть цепью ситуаций, а режиссер и актеры могут заполнять их словесной импровизацией?

2. В какой мере сценарист должен придерживаться исторической точности в языке?

3. Какова роль речевых характеристик в фильме и нужны ли они вообще?

4. Существует ли связь между жанром фильма и употреблением тех или иных стилей речи в сценарии?

5. Влияет ли язык кино на речевую культуру населения? Какова степень этого влияния в сравнении с языком литературы, радио, телевидения? В связи с этим — каковы границы применения просторечия, вульгаризмов, жаргонных слов и выражений в языке кино?

Мы публикуем ответы кинодраматурга Сергея Александровича Ермолинского, известного зрителям по фильмам «Во имя жизни», «Неуловимые мстители» и многим другим.

Откликнулся на нашу просьбу и главный редактор Первого творческого объединения Московской ордена Ленина киностудии «Мосфильм» кандидат искусствоведения Леонид Николаевич Нехорошев, автор книги «Временем призванные. Об одном поколении кинорежиссеров» (М., 1965).

Своими соображениями о слове в кинофильме поделился заслуженный деятель искусств РСФСР режиссер Иван Владимирович Лукинский, снимавший картины самых разнообразных жанров (достаточно напомнить пользующиеся заслуженной популярностью фильмы «Иван Бровкин», «Товарищ Арсений», «Деревенский детектив»).



С. А. Ермолинский

очень интересный и плодотворный жанр. Но мы говорим о художественном фильме.

«Язык, которым Российская держава великой части света повелевает, по ея могуществу имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает». Вся история русской литературы в ее могучем развитии — доказательство этой мысли Михаила Васильевича Ломоносова. И теперь мы — поистине богатые наследники! Но неужели сохранились еще кинодеетели, обломки допотопного киношки, которые до сих пор считают себя непричастными к этому наследию и не задумываются над тем, что они отвечают за культуру языка не меньше, чем писатели?

Сейчас можно сказать совершенно определенно и без всяких оговорок, что кинематография в ее передовых достижениях занимает в духовной жизни человечества место, равное литературе. Это уже свершилось, хотя тащится (и будет еще тащиться) любезный кинопрокатчикам обоз кинематографического ширпотреба.

В октябре 1965 года в Риме работал конгресс Европейского сообщества писателей. На этом конгрессе А. Твардовский сказал: «Нам не явилось здесь такое произведение литературы, на котором бы мы могли сейчас, что называется, скрестить шпаги. Направление, которое мы обсуждаем, не представило таких объектов, по крайней мере не сделало их всеобще известными. Однако мы имели возможность включить как бы в программу своих работ ознакомление с такими новинками, как фильм Феллини „Джульетта и духи“ и фильм Пазолини „Евангелие от Матфея“, это значительно обогащает содержание наших встреч».

Ежели вопрос стоит так (то есть несомненно взаимодействие проблем литературы и кино), то разве можно отвергать как второстепенное звучащее в фильме слово? Оно не может быть случайным и приблизительным. Это важнейший компонент в создании произведений киноискусства, независимо от

■ 1. Я не знаю, что это за кинодеетели, которые считают, что сценарий должен представлять собой цепь ситуаций, а режиссер и актеры могут заполнять их словесной импровизацией. Но я очень хорошо знаю, что на съемках такими импровизациями то и дело занимаются, и ничего хорошего, как правило, из этого не получается. Впрочем, справедливости ради должен сказать, что происходит это не по злой воле кинематографистов, а чаще всего потому, что сценарий был написан весьма приблизительно: неточно по мысли и бедно по словесному выражению. Вот и пришла на помощь скороспелая самодеятельность режиссера и актеров. Исключим из этого полудокументальные съемки «скрытой камерой» и подслушанные разговоры, записанные на пленку. Это

характера фильма (сделан ли он как «разговорный» или в нем преобладает изобразительная палитра).

А. П. Чехов не советовал печатать пьес до постановки. Он считал, что во время постановки автор многое видит. Как заговорят актеры, то сразу чувствуется, где фальшь, где лишнее. Но это разговор не об актерских «отсебятинах» и «импровизациях». Происходит наглядная проверка написанного текста, и такое творческое вмешательство актеров в работу автора обогащает пьесу (и сценарий в той же мере), раскрывает значимость каждого слова, его единственную точность, отбрасывая ненужные разъяснительные повторения. Такую работу режиссуры и актеров трудно переоценить.

2. Разумеется, надо брать слова, которые вошли в быт, но делать это надо умело и осмотрительно. Ах, какая нужна здесь осторожность, какое чувство меры и какая ответственность у авторов фильма, чтобы не способствовать засорению слуха многомиллионного зрителя жаргоном! А. П. Чехов писал Ивану Щеглову: «Язык щедро попорчен...». Сколь часто приходится повторять это, читая сценарии, ведь они разлетаются по экранам всей страны, неотвратно утверждая эту «порчу». Чехов советовал Горькому «не пощадить в корректуре сухих сынов, кобелей и пшибздииков...». Этот совет становится едва ли не обязательным для кинодраматургов и режиссеров.

3. Сказанное выше имеет прямое отношение и к вопросу о «речевых характеристиках». Известно, что в драматическом сочинении (и в сценарии, разумеется) речевая характеристика — одно из важных средств в создании образа. Мы часто сетуем на бедность, серость, безликость языка в наших сценариях. Бывает, что этому способствует испуганная и педантичная редакция. Не надо забывать, что живой и яркий язык персонажей означает также и включение в него слов, выхваченных из быта, услышанных на улице, и часто жаргонных слов. Надо ли чураться их и бежать, как чёрт от ладана? Нет, дело тут, как я говорил, в чувстве меры. Жаргонное словечко может быть прикреплено к персонажу, остро характеризует его и его среду, и тогда прозвучать оно должно сатирически, с издевкой. Я думаю, по силам кино бороться с теми новыми, вошедшими в скороспелую моду словами и выражениями, которые засоряют язык, вульгаризируют его. Речь в кино почти всегда афористична. Многословие, как правило, — вредная штука в фильме. А вот удачно пущенное с экрана словечко, меткое, остроумное, зачастую впервые найденное, тотчас получает веселое право гражданства и живет в народе!

4. Я думаю, чтобы утвердить избранный жанр, сделать его художественно полноценным, необходим точный словесный отбор. Стиль фильма во многом определяется стилем речи, предложенной автором сценария.

5. В сущности я уже ответил на этот вопрос. Забота о культуре языка в фильме повышается в прямой зависимости от того, что кино — самое массовое из искусств. Оно легко может стать распространителем дурного, испорченного языка, как и дурного вкуса. Безусловно, это относится и к радио и к телевидению. Лев Толстой написал просто: «Если бы я был царь, я бы издал закон, что писатель, который употребил слово, значение которого он не может объяснить, лишается права писать и получает 100 ударов розог».

Писателю в кино (кинодраматургу), пишущему плохим языком, надо соответственно выдать не 100, а 1000 ударов.



Л. Н. Нехорошев

■ 1. Как правило, речь должна закрепляться в сценарии. Это не значит, что в ходе съемки того или иного эпизода режиссер и актеры не могут вносить в текст ролей изменений, не могут сокращать, переделывать или дополнять речевой материал тем, что придумано уже непосредственно на съемочной площадке.

Создание фильма по сценарию, представляющему собой целиком лишь цепь ситуаций и рассчитанному на то, что диалог возникнет импровизационно в процессе съемки, можно рассматривать только как эксперимент. Насколько подобные эксперименты бывают и могут быть удачными, зависит от своеобразия таланта их исполнителей.

Следует сказать, что правомерность импровизационного метода работы над речевым текстом неодинакова для фильмов разных жанров. Если в картинах драматического построения с твердо выверенным, четким сюжетом импровизация едва ли приведет к успеху, то в фильмах повествовательных, основанных на показе потока жизни, она значительно более допустима.

2. Сценарист может не придерживаться абсолютной исторической точности в языке героев. Более того, при создании сценария исторического фильма кинодраматург и не должен, на мой взгляд, отказываться от употребления слов, возникших во времена, более поздние по сравнению с изображаемым. В противном случае авторы не смогут наладить необходимый контакт между персонажами фильма и зрителями. Вместо живых, близких и понятных зрителю героев по экрану будут ходить выписанные из архивов, странно, иногда даже и смешно говорящие люди. Другое дело: в какой степени сценарист может использовать языковые новообразования? Тут вкус и талант создателей картины решают все. Новые слова должны существовать в речи персонажей в определенной пропорции наряду со словами «старыми», придающими картине характер произведения исторического. И еще. Эти «новые» слова не должны блистать своей новизной, иначе говоря, они не должны ощущаться зрителями как новые, рожденные сегодняшним днем. Так, создавая сценарий на материале 20-х годов, я бы воздержался от введения в речь персонажей таких, предположим, слов, как **хохма** или **симпозиум**.

3. Не думаю, что может существовать истинно художественный фильм, в котором речь персонажей была бы полностью нивелирована и не характеризовала бы их в той или иной мере. В какой? Это зависит от многих обстоятельств: от характера произведения, от своеобразия творческого письма автора, от удельного веса диалога в системе выразительных средств данного кинофильма и т. д.

4. Связь между жанровыми признаками фильма и употреблением в нем того или иного стиля речи существует самая непосредственная. Одно де-

ло — речь героев исторической трагедии (фильм «Иван Грозный», например) и другое — речь персонажей бытовой комедии («Зигзаг удачи»). Если стиль речи в первом случае — «высокий», приподнято-торжественный, то во втором случае — это стиль «низкий», весь основанный на лексике и словесных оборотах житейской повседневности. Равно как стиль речи в фильме поэтическом не будет схож со стилем речи в «интеллектуальной» драме из жизни ученых.

5. Мне кажется, что кинофильмы влияют на речевую культуру населения больше, чем литература или радио. Почему? Больше, чем литература потому, что есть разница между словом читаемым и словом слышимым. Слово услышанное легче ложится на язык, оно заразительнее, вероятность произвольного его повторения выше. Радио в отличие от кино не создает пока таких героев, которых зритель любит, как живых людей, и которым он подражает во всем, в частности и в том, как они говорят. То же можно сказать пока и о телевидении.

Заразительность речи, услышанной с экрана, конечно, должна заставлять создателей фильмов быть осторожными с введением в речь персонажа жаргона или вульгаризмов. Взятое из жизни и перенесенное на экран жаргонное выражение может получить тем самым права гражданства и уже узаконенное, как бы в новом качестве, вернуться в жизнь, в разговорную речь, снижая тем самым ее культуру.

■ 1. Я считаю, что с началом звукового кино литературная основа кинофильма приобретает первостепенное значение. Добротный литературный сценарий — это очень важно. Другое дело, что в процессе работы над фильмом приходится заменять некоторые реплики, что-то «подгонять». Даже вполне правильная, достаточно выразительная и точная фраза может оказаться неудобной для произнесения: не ложится на голос актера. Бывает и так, что актерская игра помогает увидеть неточность в литературном тексте. Такой случай был у нас при работе над фильмом «Деревенский детектив». В повести, которая послужила основой сценария, Анискин говорил: «Придется протоколá писать». Думаю, что неточно было в повести, сейчас уже нигде никто так не скажет. Мы это устранили, и автор с нами согласился.

2. На второй вопрос нельзя ответить односложно. Разные поговорки, присловья, жаргонные словечки, возникающие буквально на памяти одного поколения, довольно отчетливо связаны в нашем представлении с опреде-



И. В. Лукинский

ленной временной характеристикой. Ну, скажем, в войну чрезвычайно распространилось жаргонное слово **обратно** в значении 'опять', лет десять назад вошло словечко **стиляга**. Конечно, если эти слова попадут в фильм о декабристах или в историко-революционный фильм, они будут восприняты как художественная неправда.

Поэтому прав Л. И. Скворцов, когда призывает киноработников добиваться «исторической правдивости речевых средств» («Русская речь», 1969, № 2). Но в чем-то, мне кажется, он все-таки и неправ. Есть стилистически совершенно нейтральные слова, которые в сознании всего народа не обладают никакой временной характерностью. Я думаю, что их сценарист может употребить, не справляясь в словаре о времени их возникновения. Если говорить о примерах, которые приводит Л. И. Скворцов, я бы сказал так: **загнуть**ся в речи людей начала века звучит фальшиво, а вот **суметь** в значении 'смочь' — вполне естественно.

3. Речевая характеристика в кинофильме, может быть, важнее, чем в прозе. Ведь у нас обычно нет авторской речи, то есть прямых рассуждений автора о персонаже. Нельзя нивелировать диалог. У каждого героя должен быть свой словарь, который может многое сказать о человеке. Настоящий художник ищет для своих персонажей не только внешний рисунок, но и каждому свое «словечко».

4. Разумеется, в известных пределах такая связь должна существовать. Создателям комедии следует особенно стремиться к легкости языка, к живости диалога, к какой-то словесной игре. Для фильмов-сказок характерна иногда некоторая стилизация под фольклор (сказки А. Роу), а иногда, напротив, привлечение самой современной речи создает комический эффект («Айболит-66»).

5. Конечно, очень много зависит от актера, от того, как он скажет. Если ярко и к месту — фраза может стать популярной и надолго остаться в разговорной речи. Помню, так было с некоторыми словечками из «Трилогии о Максиме», произнесенными М. Жаровым.

Думаю, что очень важно, кому адресован фильм. Центральная киностудия по производству детских и юношеских фильмов имени М. Горького здесь в особом положении. Конечно, на несформировавшегося подростка речь героев кинофильма влияет гораздо сильнее, чем на всякого другого зрителя. Взрослый человек способен критически оценить то, что он слышит, и я согласен с А. Е. Балихиным («Русская речь», 1969, № 2), что эту критическую способность кинозрителя нельзя недооценивать.

В детских фильмах мы должны быть максимально строги, а в фильмах, адресованных взрослым, не следует слишком «выглаживать» речь, делать ее для всех персонажей одинаковой, так как это обедняет образ, нивелирует его.

В фильме «Деревенский детектив» герой говорит: «Что ж, **братовья**, хулиганите все? А мне с вами возись?». Не думаю, что, услышав такую фразу из уст героя, зрители станут сами говорить **братовья** вместо обычного литературного **братья**. Это лексика образа, его суть, его речевая характеристика.

Культура речи

В редакцию «Русской речи» продолжают поступать многочисленные письма читателей с самыми различными вопросами, посвященными правописанию иноязычных собственных имен (географических названий, фамилий и т. п.) в русском языке. В нашем журнале уже были опубликованы статьи на эту тему (1967, № 4; 1968, № 1). По просьбе читателей мы публикуем три статьи о принципах практической транскрипции иноязычных собственных имен.

1

Нормы практической транскрипции

Один из самых трудных вопросов русской орфографии — правописание иноязычных собственных имен. Как правильно: Шахразада, Шехерезада или Шехрезада, Ленец, Ле Нен или Ле-Нен? Почему на афише МХАТа пишут *Ануй*, а на афише Малого театра — *Ануйль*? Польскую фамилию Kościńska передают: Кошцинская, Кошчиньска, Косьцинская, Копчинская, а английскую Mathews: Мэтьюс, Метьюс, Матьюс, Мэтьюз. Имеется 18 вариантов передачи английской фамилии Galsworthy и 30 вариантов названия Кызылкуп.

Надо ли говорить, сколько из такого положения вытекает неудобств, как это затрудняет пользование каталогами, картами, справочниками! Справедливо Л. В. Щерба называл передачу иностранных имен «хотя и маленьким, но все же общественным бедствием». Неограниченный разбой в написании собственных имен сам по себе показывает, насколько их орфография отстала от потребностей времени.

Включение в русский текст иноязычного собственного имени — частный случай заимствования слова. Заимствование личных имен и названий изучает ономастика, наука о собственных именах. Важной проблемой остается также заимствование нарицательных имен, прежде всего специальных терминов. Его должна была бы изучать наука о нарицательных именах, которую можно было бы назвать просегорологией (от греческого *prosegorikon* — «имя нарицательное»). Собственные имена заимствуются чаще, чем нарицательные, но осваивать их языку труднее.

Наиболее редкий вид заимствования собственных имен — перевод. Он применяется, в частности, в художественных произведениях, где имеет значение и смысл имени, которое, как говорил Золя, «становится в наших глазах как бы душою персонажа». Поэтому, например, в русском издании «Моникинов» Купера

Lord Chatterino — это Лорд Балаболло, John Jaw — Джон Брех, a island of Leap-high — остров Высокопрыгия. Последнее относится уже к другому разряду собственных имен — географическим названиям (топонимам), хотя это лишь вымышленное название.

Обычно географические названия не переводятся, кроме некоторых традиционных (остров Святой Елены, Скалистые горы, Средиземное море). Переводится только термин, обозначающий род объекта (остров, гора, залив, перешеек и т. д.), например: венгерское Muzsla-tető — гора Мужсла (по-венгерски *tető* — 'гора, вершина'), чешское Černé jezero — озеро Черне. Переводят, как правило, и название учреждений, которые состоят главным образом из нарицательных слов: Australasian Institute of Mining and Metallurgie — Австралоазиатский институт горного дела и металлургии.

За исключением таких случаев русский эквивалент иностранного имени устанавливается с помощью транскрипции, под которой понимают вообще передачу звуков какого-либо языка системой знаков, отличных от букв этого языка.

Когда оба языка — и тот, из которого имя заимствуется, и тот, в который оно заимствуется, — пользуются одинаковой графикой, к транскрипции обычно не прибегают, оставляя имя в той форме, в какой оно писалось в языке-источнике. Так французские имена включаются в английский текст, арабские — в персидский или китайские — в японский, английские, французские, немецкие — в польский. Конечно, это проще всего, но проблема транскрипции при этом не решается, а обходится; фонетический облик заимствуемого имени нередко искажается до неузнаваемости. Так, немецкая фамилия Kaufmann (Кауфман) превращается у англичан в *Кофман*, а английская Wardslaw (Уордсло) по-немецки будет читаться *Вардслав*. Читая польский текст, не сразу можно понять, что под фамилией Churchill скрывается знаменитый англичанин Черчилль (точнее — Чёрчилл): ведь в соответствии с польской орфографией эту фамилию надо было прочесть *Хурхил*.

Отсюда, между прочим, получились некоторые формы, бытовавшие в русском языке в XVIII—XIX веках и частично сохранившиеся до наших дней. Так, под влиянием немецкого произношения реку Тахо (испанское Тахо, португальское Тежу) передавали *Таю*, а английские названия Liechfield, Ipswich (Личфилд, Ипсуич) в первой половине XVIII века транскрибировали — Лихфильд, Ипсвих, то есть английское *ch* — *x* (вместо *ч*), *w* — *v* (вместо *у*).

Последний случай более сложен. Дело в том, что в русском языке нет соответствующего звука. Сейчас принято передавать *w* через *y*, чтобы дифференцировать исходные *v* и *w* (этими буквами в английском языке передаются разные звуки). Во многих именах сохранилась традиция передачи английского *w* через *v*: Вашингтон, Веллингтон, Вильсон, Говард; но в последнее время наблюдается тенденция передавать *w* через *y* даже вопреки тра-

дции: William — Уильям вместо Вильям; австралийский город Darwin — Даруин вместо Дарвин и т. д. «Гласная» передача *w* — *y* принята на всех картах. По-видимому, она удовлетворительнее, чем устаревшее транскрибирование *w* через *v*.

Датское Sjaelland (Шелланн, самый крупный из островов Датского архипелага) перешло в русский язык — Зеландия — через немецкое *S*. Этот случай характерен для названий, проходящих при заимствовании через один или несколько языков.

Любопытна судьба имени *Шахразада* — *Шехерезада*. Оно восходит к анонимным персидским сборникам сказок, включенным в XIV—XVI веках в арабскую «египетскую» редакцию «Книги тысячи и одной ночи». При заимствовании из персидского языка в арабский имя *Шахразада* несколько изменилось, а после неэмфатической согласной стало читаться ближе к *э*, как это обычно в арабском литературном произношении, и в таком виде Schéhérazade — Шехерезада попало во французский перевод Галлана (1704) и далее в русские переводы. Только в последние десятилетия установлено правильное *Шахразада*.

Может показаться, что подобрать русский эквивалент иностранного имени очень просто: достаточно взять самые близкие по чтению русские буквы. Но что «ближе» к немецкому *й* — русское *ю* или *и*? Передавать ли чешское *h* через *x* или *z*, финское *ä* — через *e*, *э* или *я*? Кроме того, в одном и том же языке в разных положениях одни и те же буквы могут читаться по-разному (английское *r*, испанское *z*). Иногда правильный выбор может подсказать графика: например, естественно передавать носовое французское *on* через *он* или валлийское *ll* через *лл* (Lloyd — Ллойд). Во многих случаях следование графике было бы абсурдным. Таким образом, правила передачи иностранных имен на русский язык по необходимости компромиссны.

Остановимся только на некоторых случаях практической транскрипции, которые, как известно из опыта, обычно вызывают затруднение.

Транскрибирование не сводится к механическому применению правил. Прежде всего, много иностранных названий передаются в традиционной форме. Таковы названия столиц и крупнейших городов (Рим вместо Рома, Стамбул вместо Истанбул, Марсель вместо Марсей, Токио вместо Токё). Во многих случаях они испытали воздействие языков-посредников. Так, название Корфу вместо Керкира прошло через итальянский язык; Алжир мы пишем вместо Ал-Джизаир под влиянием французского Algérie. (Само слово Ал-Джизаир по-арабски означает 'острова'. Так назывался город Алжир, потому что он первоначально располагался на четырех прибрежных островах. Затем это название было перенесено на всю страну.) Сейчас все более последовательно проводится принцип передачи имен и названий в их национальной форме. Мы стали употреблять название Венгшиас вместо Виндава, Гуанчжоу вместо Кантон, Джакарта вместо Батавия и т. д.

Крупнейший город Австралии Sydney передается по традиции и вопреки произношению *Сидней*, но это не мешает правильному *Сидни* для всех других населенных пунктов Sydney, какие есть в Англии и США.

Первый президент США — Джордж Вашингтон (традиционная передача), столица США — тоже Вашингтон, но все остальные населенные пункты с таким названием (а их в США около полутораста) следует давать *Уошингтон*. Итальянское *Napoli* передаем традиционным *Неаполь*, но в составном названии *Magano di Napoli* — по общему правилу: *Марано-ди-Наполи*.

Вообще нередки случаи, когда разные объекты, имеющие одно и то же название, в русской передаче дифференцируются: в испанском языке одинаково обозначается страна Мексика и ее столица Мехико (*Méjico*); в русском же это два различных слова. Государство Кувейт и его столица Эль-Кувейт тоже различаются по форме только в русском языке. Наоборот, страна Бразилия по-португальски будет *Brasil*, а новый город Бразилия — *Brasilia*.

Живой язык создает традицию непрерывно. Как только начинают употреблять новое иностранное имя, один из вариантов его передачи очень быстро становится привычным. Само по себе это положительное явление, указывающее на то, что имя освоено языком и его не надо каждый раз заимствовать заново.

Однако с неверной традицией надо бороться, пока она не успела укорениться. Так, фамилия французского драматурга Anouille с чьей-то легкой руки стала *Ануиль*, хотя французское *ille* после гласных должно сообразно произношению транскрибироваться посредством *й*. Правильно поэтому — *Ануй*. Итальянское *Gioconda* — *Джоконда*, а не *Джиоконда*, потому что *i* здесь указывает только на изменение произношения итальянского *g* (в русской передаче — *дж* вместо *г*). Английского философа и публициста Carlyle следует называть *Карлайл*, а не *Карлейль*, ведь английское *l* мы обычно передаем твердым *л* (*Bloomfield* — Блумфилд, *Littlechild* — Литлчайлд), а *ей* вместо *ай* для английского *y* в открытом слоге вообще не имеет никаких оснований (через *ей* передается голландское *y*: *Gysen* — Гейсен, *Van Dyke* — Ван Дейк).

Вместо неточного *Букингэм* мы передаем сейчас английское название и фамилию *Buckingham* как *Бакингем*.

Предположим теперь, что собственное имя передается впервые, то есть традиции для него нет. Трудность представляет уже первый и, казалось бы, простой этап — выбор языка, с которого должно быть протранскрибировано данное имя. Вообще говоря, для фамилий и личных имен за основу надо, очевидно, брать родной язык носителя имени (фамилии), а для географических названий — государственный язык страны. Однако, например, название *Sämeväjnen* на территории Швеции передается *Самервайнен*, а не *Семерейнен* (как следовало бы со шведского языка), потому что это финское слово. Родной язык носителя имени может быть не указан в тексте, и тогда неизвестно, как передавать, скажем,

Charles Boulger — Шарль Бульже (с французского) или Чарльз Баулджер (с английского).

Встречаются и «гибридные» имена, которые должны транскрибироваться частично по правилам для одного языка, частично — для другого. Так, фамилию американца немецкого происхождения Saueg передают не *Зауэр* (как было бы для чисто немецкого имени) и не *Соэр* (для английского), а, следуя компромиссно произношению, *Сауэр*.

Споры вызывает также проблема слитного, дефисного или раздельного написания иностранных имен. Общее правило для всех разрядов собственных имен в этом случае — следовать исходной иностранной форме: французское Le Nain — Ле Нен, Saint Simon — Сен Симон; английское название треста «United States Steel Corporation» будет «Юнайтед Стейтс стил корпорейшен».

В практике твердо установились, однако, некоторые дополнительные правила, которые вряд ли целесообразно изменять. Если передается раздельно пишущееся географическое название, то между его частями ставят дефис: английское Stockton on Tees — Стоктон-он-Тис, немецкое Greßer Plöner See — Гросер-Плөнер-Зе. Это естественно, потому что первичная синтаксическая связь внутри названия при заимствовании утрачивается, и оно воспринимается как неделимый комплекс (Соль-Вычегодск, Китай-город). Во вьетнамских именах и названиях дефис не ставится: Vu-Dang-Ai — Ву Данг Ай.

Артикль сохраняется только в том случае, если имя без артикля не употребляется. Например, название английского населенного пункта The Den — Те-Ден, а французский город Les Chambon Feugerolles — Ле-Шамбон-Фёжероль; испанская фамилия Las Casas — Лас Касас. В противоположном случае артикль опускается: газета «The Times» — «Таймс».

Когда структура и языковая принадлежность заимствуемого имени выяснены, остается вопрос о передаче его «трудных» фонетико-графических компонентов. Приведем несколько примеров.

Большие затруднения вызывает проблема английского *a* в закрытых слогах типа map, rap. По-видимому, его надо передавать русским *a*, что у нас и делали еще в начале XVIII века: Stanley — Станли. От передачи через *e* следует отказаться, так как она ведет к смешению исходных английских *a* и *e*: Менсфилд — Mansfield или Mensfield? Кроме того, *e* возможно только после согласных (и к тому же подкашивает их смягчение, неуместное в английских именах), а форма [æ] нередка и в начале английских слов: Abbot, Adams.

Иногда передают английское *a* [æ] через *э*. Однако и в этой передаче могут быть смешаны *a* и *e*. В «Инструкциях по передаче на картах географических названий» *a* [æ] последовательно передается через *a*; *э* после согласных не пишется (есть только два исключения, если не касаться восточных языков: английское *ar* во всех случаях, в том числе и после согласных, превращается

в эр: Mary — Мэри, Caird — Кэрд, Delaware — Делавэр; и румынское *ă* всегда будет э: Făcăeni — Фэкэень).

В нарицательных заимствованиях (банкноты, джаз-банд, танк и т. п.) на месте английского *a* [æ] — русское *a*; для латинского «международного» *a* легко устанавливается двустороннее соответствие с английским и русским *a*: *stagnatio* — *stagnation*, *stagnация*; *sanatorium* — *sanatorium*, санаторий. Это тоже говорит о целесообразности передачи английского *a* в закрытом слове русским *a*.

Английское *th* всегда *t* независимо от глухого (*Meredith* — Мередит) или звонкого (*Sutherland* — Сатерленд) произношения. Передача через *c* или *z* (*Galsworthy* — Голсуорси, *Rutherford* — Резерфорд, газета «*Truth*» — «Трус») применима только в исключительных традиционных случаях.

Большие разногласия продолжает вызывать вопрос о передаче финских и эстонских долгих гласных, которые в подлиннике обозначаются на письме удвоенными буквами: *aa*, *ee*, *ii*, *oo*, *ii*, *uu*, *ää*, *öö*, *üü*. Фактически в передаче этих имен на русский язык существуют два образца. В паспортах и официальных документах удвоение сохраняется (*Kuusinen* — Куусинен, *Laatikainen* — Лаатикайнен), а на картах в географических названиях пока еще нет. Безусловно, это не имеет никаких логических оснований. Должен быть узаконен единый принцип передачи для всех разрядов финских и эстонских имен. В качестве такого принципа все больше утверждается удвоение гласных букв. Это стихийно происходящий процесс, связанный с тем, что удвоение гласной воспринимается как характерный национальный признак имен.

Венгерские, голландские, немецкие или чешские долгие гласные, наоборот, передаются одной русской буквой (венгерское *Ernő* — Эрнё, голландское *Antoon Coolen* — Антон Колен), так как в этих языках долгие гласные в большинстве случаев обозначаются на письме не удвоением, а другими графическими приемами (надстрочными знаками, буквой *h* и т. д.).

Трудность представляет и передача собственных имен, принадлежащих к родственным славянским языкам. Здесь опасны две противоположные крайности — как «механическая» транскрипция, не учитывающая близости языков, так и «русификация» имени.

Вот несколько примеров. При передаче болгарского *ъ*, точного соответствия которому нет в русском языке, помогает этимологический принцип. Мы можем передавать: Лъчезар — Лучезар, Първан — Перван, Вълчан — Волчан, и в то же время прибегать к «механической» передаче *ъ* через *ы* при отсутствии сходных слов в русском языке: Пламък — Пламык. И мы не должны заменять болгарские имена *Васил*, *Никола*, *Димитър* на *Василий*, *Николай*, *Дмитрий*.

Польские фамилии на *-ski*, *-cki* и чешские на *-sky*, *-cký* следует передавать по-русски с соответствующим окончанием *-кий* (например, *Túnecký* — Тинецкий, *Fałkowski* — Фалковский). До сих

пор существует разнoбой в передаче польского *ń* в суффиксах фамилий (-ньский или -нский). Между тем передача *-ньский* помогает сохранить национальный «колорит» фамилии, позволяет сразу отличить ее от аналогичных фамилий из других славянских языков. Игорь Бэлза (см. «Литературная газета», 26 марта 1969) справедливо отстаивает такое написание (например: Красиньский). Однако он предлагает распространить эту передачу и на твердо установившиеся в традиции фамилии, например *Огиньский* вместо *Огинский*. С этим, конечно, нельзя согласиться. Было бы напрасным педантизмом требовать, чтобы на всех афишах стояло обязательно: «полонез Огиньского». Но для вновь транскрибируемых, нетрадиционных фамилий нет оснований отступать от правильной передачи на *-ньский*.

Таким образом, практическая транскрипция — это своего рода искусство, требующее большого опыта. При этом транскриптор должен опираться на авторитетные кодифицированные принципы и указатели. Но ни тех, ни других у нас пока нет. Есть отдельные правила и инструкции, но они не сведены воедино и часто противоречивы. Нет и достаточно полных словарей транскрипции иностранных собственных имен. Для 17 языков народов РСФСР имеется «Справочник личных имен» (М., 1965), рекомендованный Юридической комиссией Совета Министров РСФСР. Справочник дает унифицированную русскую транскрипцию, ударение, позволяет различить мужские и женские имена, комментирует их внутреннюю форму и происхождение. Но для других языков работа по составлению таких справочников только начинается. А ведь нужны справочники и для фамилий, и для названий фирм (ср., например, справочник «Русская транскрипция наименований металлургических и смежных фирм». М., 1967), и для прочих разрядов собственных имен. Разработка таких пособий будет означать, что у нас действительно и не только стихийно установились нормы практической транскрипции.

Б. А. СТАРОСТИН,

старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Р. С. Гиляревский и Б. А. Старостин. Иностранные имена и названия в русском тексте. М., 1969.

Инструкции по передаче на картах географических названий (издает Главное управление геодезии и картографии).

А. А. Реформатский. Орфография собственных имен.— Сб. «Орфография собственных имен». М., 1965

Г. П. Сердюченко. Русская транскрипция для языков зарубежного Востока. М., 1967.

Б. А. Старостин. Транскрипция собственных имен. 2-е изд. М., 1965.

А. В. Суперанская. Прописная и строчная буква в собственных именах различных категорий.— Сб. «Орфография собственных имен». М., 1965.

А. В. Суперанская. Ударение в собственных именах в современном русском языке. М., 1966.

С. В. Кушков (г. Орджоникидзе) просит уточнить вопрос о соотношении форм *Тифлис* и *Тбилиси*. Название столицы Грузинской ССР образовано от грузинского прилагательного *тбили* 'теплый' (на территории города находятся горячие источники), поэтому исконность и первоначальность формы *Тбилиси* не вызывает сомнения. Форма *Тифлис* обязана своим возникновением армянам, которые издавна составляли значительную часть населения этого города. Нередко на старых рисунках встречается надпись *Tiflis*. Это свидетельствует о том, что художники закрепили на письме армянское произношение имени. Официально старое название *Тифлис* в новое *Тбилиси* было изменено в 1935 году.

П. Ф. Плетнев из Свердловской области спрашивает, почему русская орфография названий городов *Лорьян* и *Шербур* не совпадает с французской *Lorient* и *Cherbourg*.

Возникший в 1664 году порт Ост-Индской торговой компании на берегу Бискайского залива получил первоначально название *L'Orient*, что значит 'Восток' (основавшая его компания вела торговлю с Востоком). Постепенно артикль *L'* слился со словом, и по-французски теперь это слово пишется *Lorient*, а произносится *Л'орьян* — с носовым гласным *а* в конце. Прежняя (до 1965 года) русская передача *Лориан* частично отражала французское произношение (отсутствовало конечное непронизносимое *-t*), а частично и французское написание (вме-

сто *-t*, которое французы произносят как *й*, — русская буква *-и*). Новое русское написание *Лорьян* (читается (*Лар'ьян*) лучше, хотя все равно неточно, отражает французское произношение (см.: В. А. Никонов. Краткий топонимический словарь. М., 1966).

Точно так же обстоит дело и с новым написанием названия города *Шербур* (французское *Cherbourg*). Оно отражает французское произношение в противовес старой форме *Шербурз*, которая соответствует французскому написанию с непронизносимым *-g* (русское *-з*) в конце.

Наш ленинградский читатель Я. Б. Зелигер высказывает решительное возражение против «бумажного переименования» города США *Лос-Анжелос* сначала в *Лос-Анджелес*, а затем в *Лос-Анджелес*. Современное название этого города (английское *Los Angeles*) восходит к звучному испанскому названию «*Pueblo de Nuestra Señora la Regina de los Angeles*» (город нашей госпожи королевы ангелов [богородицы]. — См. словарь В. А. Никонова), которое сократилось до современного английского *Los Angeles* (произносится: *Лос'энджиллиз* или *Лос'эндзил:з*).

Старая русская транскрипция *Лос-Анжелос* была далека от оригинала, а конечная часть *-лос*, вероятно, возникшая под влиянием начального *Лос-*, просто ошибочна. Можно было бы оправдать чисто буквенное сближение с английским оригиналом в написании *Лос-Анджелес*, хотя в русском произношении заударные гласные и в старом ва-

рианте конца слова *-лос* и в новом *-лес* практически не различаются. Только усложнило дело введение «немого» *-д-* в новейшем написании *Лос-Анджелес*. Новый вариант отличается от *Лос-Анджелес* лишь на письме да и то лишь в очень тщательном произношении.

Поэтому у читателя возник вполне законный вопрос: «Зачем ломать традиции? Ведь *Лос-Анджелес* значительно легче и проще произносится, чем *Лос-Анджелес!* И вообще, в чем польза изменения транскрипции и произношения названий городов?».

Единственное оправдание, которое могут привести сторонники таких частичных «бумажных» перекрепциваний, — сближение со звучанием оригинала — при ближайшем рассмотрении оказывается несостоятельным, ибо полного сближения достигнуть никогда не удастся. Ведь чужие звуки далеко не всегда имеют точные соответствия в русском языке. Кроме того, и иностранные языки и русский язык развиваются, а значит, сближения, созданные в результате усовершенствования написаний, в дальнейшем снова разойдутся и тогда опять придется их сближать повторно.

П. Ф. Плетнев из Свердловской области указывает, что в изданиях произведений О. Бальзака прежний барон де Нюсинжен превратился в барона де Нусингена.

Здесь передача французского буквенного состава фамилии Nusingen восторжествовала над передачей звучания этого слова в написании Нюсинжен.

Ярославец Б. Камнев указывает, что, кроме приведенного в № 1 «Русской речи» за 1968 год объяснения, почему русское произношение географического имени *Париж*

не совпадает с французским *Paris* (Пари), существует и другое. Автор письма приводит его в виде обширной цитаты из заметок писателя Б. Н. Тимофеева «Правильно ли мы говорим?», где доказывается, что Древняя Русь узнала о Париже через итальянцев, которые называют этот город *Париджи*.

К такому выводу Б. Н. Тимофеев пришел только на основании того, что современное итальянское название Парижа (*Parigi* — женского рода) *Париджи* ближе всего по звучанию к русскому *Париж*. Писатель не учел того обстоятельства, что название столицы Франции произносится подобно русскому и в других славянских языках, в том числе и в западнославянских. А западным славянам, которых от территории нынешней Франции отделяла лишь узкая полоса германцев, не зачем было знакомиться с Парижем через далекую Италию. Скорее всего об этом городе они узнали от германцев.

Столица Франции в древности получила свое название (сначала *Lutetia Parisiorum*, затем *Civitas Parisiorum*) по имени древнего галльского племени паризиев, и название это буквально значило «город паризиев». Немцы, у которых сейчас этот город называется *Paris* (Парис), рассказали о нем славянам еще в то время, когда сами произносили в конце этого названия звонкий согласный *з*. Славяне же старое германское *з* обычно передавали своим звуком *ж*. Таким образом и возникло славянское произношение *Париж*. Историко-лингвистический материал Б. Н. Тимофееву не был известен, поэтому он и пошел по пути сопоставления лишь современных форм.

Читатель Г. М. Дехтерев из

г. Омутнинска Кировской области обращает внимание на следующий факт: «Еще в начале века „Нива“ А. Ф. Маркса издала в приложениях к журналу сочинения Г. Ибсена в прекрасном переводе А. и П. Ганзен (судя по фамилии, норвежцы или датчане). Герой драмы „Враг народа“ именовался там *доктор Стокман*. И хотя в скандинавских языках начальное сочетание букв *st* читается *ст*, а не *шт* (как в немецком языке), и по радио и во многих книгах упрямо и назойливо твердят *Штокман* вместо *Стокман*. Почему же тогда не онемечить и другие слова, например, *Штокгольм* и т. п.? Надо быть последовательнее».

Г. М. Дехтерев совершенно прав: нельзя все собственные имена с начальным *st* воспроизводить на «немецкий манер» *шт*-. Однако необходимо учесть, что герой пьесы Г. Иб-

сена «En folkenfiende», которая переводилась на русский язык под разными заглавиями: «Враг народа», «Враг человечества» или «Доктор Штокман» (обычно последнее название использовалось как подзаголовок пьесы), в самых старых переводах передавалось с начальным *Шт*- в соответствии с *St*- оригинала на немецко-еврейский лад (см.: переводы Д. А. Мансфельда в литографированном издании 1892 года; перевод Н. Мирович в изданиях 1901, 1908 годов и др.). Передача фамилии главного героя пьесы Г. Ибсена с начальным *Шт*-, вероятно, вызвана влиянием этих устаревших переводов. Разумеется, в новых изданиях дается правильная, соответствующая языку оригинала, транскрипция имени — *Стокман*.

И. Г. ДОБРОДОМОВ



Украинские названия

М. М. Сухолюцкий из Киева спрашивает: «Нужно ли при передаче собственных имен с украинского на русский и наоборот переводить смысловое значение слова? В Киеве есть улица Красноармейская. Это главная улица (продолжение Крепчатика) обозначена большим числом табличек на русском и украинском языках. По-украински улица пишется: Червоноармійська, в то же время Радянський и Залізничний районы Киева соответственно: Радянский и Залізничный.

Передача украинских собственных географических названий по-русски должна осуществляться в соответствии с «Инструкцией по передаче на картах географических названий Украинской ССР» (М., 1965), разработанной в Отделе транс-

крипции Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии.

«Практика передачи украинских географических названий по-русски,— говорится в Инструкции,— определяется традицией, основанной на близком родстве украинского и русского языков. Географические названия Украинской ССР передаются на русских картах в транскрипции, которая может быть полной или частичной — с заменой суффиксов и окончаний или заменой соотносимых звуков в корне».

Переводятся на русский язык только определительные слова, входящие в состав топонимов и отличающиеся от соответствующих им русских лишь фонетически (Зеле-

ний, Білий, Синій и т. д.), а также принадлежащие к четко определенной Инструкцией группе (Південний, Північний, Західний, Східний, Верхній, Нижній, Середній, Перший, Другий): Південний Буг — Южный Буг, Білий Черемош — Белый Черемош; Шевченкове Друге — Шевченково Второе. Определяемое же слово при этом обычно транскрибируется.

Инструкция предусматривает различные способы такой транскрипции. Полностью транскрибируются названия, этимология которых неясна (Сколе — Сколе, Гійче — Гйиче, Кагарлик — Кагарлык), с заменой соотносимых звуков, если украинские географические названия имеют единый с русским корень слова и точное соответствие по смыслу в современном русском и украинском литературных языках, но отличаются фонетическими закономерностями (Міст — Мост, Павучки — Паучки, Товстий Ліс — Толстый Лес, Бистрица — Быстрица).

Исходя из этих правил топоним *Зелений Гай* надо передавать по-русски, как *Зеленый Гай*. Слово *гай* 'роща, лиственный лес' сохраняется во всех случаях передачи тождественное написание. Территория распространения в топонимии этого слова поистине огромна: Югославия, Чехословакия, юг Польши, Украина, Курская и Воронежская области. В южнорусские говоры слово проникло из украинского языка. Попытки «переводить» на Украине *Зелений Гай* как *Зеленая Роща*, *Дубовый Гай* как *Дубовая Роща* лишены всякого основания.

Без перевода должны употребляться и наименования, возникшие в советский период как устойчивые словосочетания: Соціалістична Праця — Социалистична Праця, Радянська Україна — Радянська Украина, Червоний Прапор — Червоный Прапор, Нове Життя — Нове Життя; не рекомендуется переводить также прилагательное *великий*, поскольку в украинском языке, в отличие от

русского, в этом слове совпали два значения — 'великий' и 'большой'. К неререодимым относятся и топонимические элементы *Горішній* и *Долишній*, не имеющие в современном русском языке точных соответствий (Велика Дорога — Великая Дорога, Великопілля — Великополье, Горішні Плавні — Горюшние Плавни, Долишній Кут — Долишний Кут).

Топонимические пары *Красний* — *Червоный*, *Первомай* — *Першотравень*, *Октябрь* — *Жовтень* и производные от них, сформировавшиеся в украинском языке на базе как собственной, так и заимствованной из русского языка лексики, следует также не переводить, а транскрибировать, поскольку в украинской топонимии эти названия различаются: *Красний Октябрь* — *Красный Октябрь*, *Червоный Кут* — *Червоный Кут*, *Жовтневий район* (в Киеве) — *Жовтневый район*, *Октябрьський район* (в г. Полтаве) — *Октябрьский район*, *Первомайськ* — *Первомайск*, *Першотравенськ* — *Першотравенск*. В соответствии с этим название улицы *Червоноармійська* при передаче на русский язык, сохраняя свой корень, изменяет лишь суффикс и окончание: по-русски следует писать *Червоноармейская улица*.

Перевод названия *Залізничного району* Киева также нецелесообразен. Полный перевод этого слова нарушил бы принцип преимущественного транскрибирования названий и, кроме того, заменил бы простое наименование сложным (украинское *залізниця* 'железная дорога', *залізничний* 'железнодорожный'). Видимо, это и побудило Киевский горсовет ограничиться в данном случае «чистой» транскрипцией: *Залізничний* — *Зализничный*.

Украинская ономастическая комиссия занимается сейчас сбором материала с целью более детальной разработки правил передачи украинских собственных имен по-русски.

А. С. СТРИБЖАК

Киев

● Прочитав эту статью, невольно улыбнешься: оказывается, в наше время королей и королев, тронов и замков, пожалуй, в несколько раз больше, чем в средние века. Как же это возможно?.. «Виновник всему — наш язык!», — отвечает статья.

За последнее время в русском языке появились очень много новых слов. Замечательные открытия в науке, изобретения в технике, новое в искусстве, жизни и быту — все это способствует появлению новых понятий, а значит и слов. Например, новые названия наук, отраслей техники — футурология, вертолестроение; машин, приборов и т. п. — экранолет, лазер, перцептрон; одежды, предметов быта — болонья, пантолеты, кофеварка и т. д.

Заметно и другое направление: некоторые старые слова стали употребляться в несвойственном прежде значении, обозначая новое понятие: палантин — большой широкий шарф, премьера — первое событие в каком-либо начинании, первый предмет в новом производстве. Другие слова получили новое употребление: *побратим*, *герой* в сочетаниях *город-побратим*, *крепость-герой*.

То же произошло и с давно известными в русском языке словами: золото, серебро, бронза, золотой, серебряный, бронзовый, король, корона, титул, рыцарь и т. д. Раньше некоторые из них, как правило, обозначали понятия, относящиеся к области монархически-феодального строя, теперь в новых значениях или употреблениях перешли в спорт. Появившись в нео-

бычном контексте, эти слова сначала употреблялись образно, метафорически, в основном в разговорной речи и прессе. Затем частое использование привело к стиранию образности, слова превратились в газетный штамп и далее у некоторых из них развилось другое употребление или даже другое значение.

Здесь мы столкнулись с одним из основных путей развития новых значений и обогащения словаря — от вновь создаваемой метафоры к появлению неологизма. Каков же механизм этого процесса? Для примера возьмем слово *король*. Старое его значение, конечно, известно всем. Теперь это слово очень часто употребляется в спортивном лексиконе: «Хотя, откровенно говоря, вряд ли, к примеру, Бобби Чарлтон особенно уступает в технике и „королю“ футбола Пеле» («Наука и жизнь», 1966, № 10); «И почему бы родине короля коньков [Голландии] не обзавестись также и конькобежной королевой» («Комсомольская правда», 19 февраля 1967); «Две трети пятнадцатитуровой многодневной шахматной гонки пройдено уже участниками первенства столицы. Лидер — неувядаемый 44-летний Давид Бронштейн — продолжает радовать своих почитателей глубиной и оригинальностью замыслов. Буквально „на пятках“ у него проверяющий свою боевую готовность шахматный король Тигран Петросян» («Комсомольская правда», 11 июня 1968).

Правда, и раньше, когда говори-

ли о ком-то, выделяющемся в какой-либо области, называли его переносно *король*: «Штраус — король вальса». Но это употребление было случайным, печальным. А вот в спортивном лексиконе слово *король* живет вполне полноправно, его новое значение: 'человек, в каком-либо виде спорта завоевавший мировое первенство' (как правило, неоднократно). То же можно сказать и о слове *королева*: «У женщин мировая конькобежная королева Стин Кайзер отстояла принадлежащий ей титул сильнейшей и в Нидерландах» («Комсомольская правда», 20 декабря 1967). Правда, в этом значении слово *королева* можно встретить не так уж часто. По-видимому, дело здесь в том, что королевой спорта несколько раньше стали называть легкую атлетику: «Плавание в наши дни по своей популярности, массовости и удельному весу на Олимпийских играх явно угрожает королеве спорта — легкой атлетике» («Труд», 3 июля 1966); «Мы с мужем давнишние поклонники легкой атлетики — королевы спорта» («Советский спорт», 11 сентября 1966).

Слово *корона* также получило новый смысл. В спорте это значит 'европейское или чаще мировое первенство в каком-либо виде спорта': «К счастью, руководители Английской ассоциации настольного тенниса сумели все урегулировать, и румыны сегодня утром вступили в бой за чемпионскую корону» («Труд», 14 апреля 1966); «Футбольные обозреватели единодушны: у «Селтика» не осталось практически никаких шансов удержать европейскую футбольную корону» («Комсомольская правда», 22 сентября 1967); «Я видел его [Клея] последний бой на боксерском ринге с Эрнн Террелом за право об-

ладания короной чемпиона мира: 6 февраля на экране телевизора в Лондоне, куда схватка передавалась через Атлантический океан, было видно, как в течение всего пятнадцатиграундового зрелища на ринге царствовал Кассиус Клей» («Неделя», 1967, № 26).

Кроме короны, у короля и королевы должен быть *трон*: «Завершаются четвертьфинальные поединки гроссмейстеров, претендующих на шахматный трон» («Комсомольская правда», 25 мая 1968).

В каждом королевстве есть *рыцари*. И вот в статьях о выдающихся мастерах определенного вида спорта пишут: «...рыцари многих качеств» — пятиборцы с честью вышли из соревнований в Олдершоте» («Комсомольская правда», 19 августа 1967); «Заслуженный мастер спорта Всеволод Михайлович Бобров напуган ледовых рыцарей» («Комсомольская правда», 17 сентября 1967).

Как известно, короли и рыцари жили в *замках*. А как обстоят дела сейчас? «В то время, когда М. Ботвинник стал чемпионом мира, на ближних подступах к замку шахматного короля не было видно ни одного из иностранных рыцарей» («Литературная газета», 1967, № 3).

Придворные и рыцари должны иметь титулы — есть они и в спорте. Слово *титул* употребляется в современном спортивном лексиконе в значении 'звание чемпиона', часто в сочетании *чемпионский титул*: «Поражение „Селтика“ — неофициального чемпиона Европы среди клубных команд — в первом же матче в защиту этого титула не произвело на английских спортивных комментаторов впечатления» («Комсомольская правда», 22 сентября 1967); «Я больше чем уверен, что финский тренер также приготовил свои „сюр-

призы“ и финны постараются сделать все для победы. Тем более, что после ничьей со шведами у них осталось не так уж много шансов на чемпионский титул» («Комсомольская правда», 17 февраля 1967).

Между рыцарями, конечно, происходят *поединки, дуэли*. Так называют теперь состязание двух команд или двух спортсменов: «Такова уж спортивная жизнь. Нельзя остановиться ни на минуту. Как бы ни устал, каких бы успехов ни добился — впереди ждут новые жаркие дуэли» («Комсомольская правда», 22 сентября 1967); «Заключительная гонка XX чемпионата страны на мотоциклах свелась к дуэли экипажей Украины и Эстонии» («Советская Эстония», 22 августа 1967); «Матч начался дуэлью Сархоян-Бержей» («Комсомольская правда», 18 октября 1967).

Золото, серебро и бронза должны украшать дворцы и замки. Появились они и в спортивном королевстве. Так называются сейчас золотые, серебряные и бронзовые медали. «Теперь спартаковцам до „золота“ — один шаг. Из трех оставшихся матчей им достаточно выиграть один, чтобы стать чемпионами страны» («Правда», 1 мая 1967); «Прошлогодние чемпионы СССР В. Пломм и В. Сууркууен на этот раз довольствовались „серебром“» («Советская Эстония», 22 августа 1967); «Только „бронза“. Чемпион Европы в легком весе ленинградец Сергей Суслин выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по дзю-до» («Правда», 13 августа 1967).

Получили новый смысл и производные от *золота, серебра и бронзы*. Ныне золотым, серебряным или бронзовым называют спортсмена — обладателя соответствующей медали, занявшего 1-е, 2-е или 3-е место. Как

видно из примеров, «драгоценной» может стать и целая команда: «Как уже говорилось, этот очерк о нашей молодой „серебряной паре“. Как пришли Таяя Жук и Саша Горелик к своему успеху» («Огонек», 1966, № 17); «„Золотой“ оказалась наша команда, а серебряную медаль в личном зачете получил москвич Владимир Кравцов» («Советская Россия», 19 августа 1967); «В числе тех, кто обеспечил себе... бронзовую медаль, финалист прошлогоднего чемпионата страны в том же [легчайшем] весе Борис Ниязов, который сумел нанести поражение бронзовому призеру Петру Горбатову» («Правда», 14 июля 1968).

Слова *золотой, серебряный, бронзовый* часто употребляются в сочетаниях *золотые весла, серебряный финиш* и т. д. Это значит — связанный с завоеванием золотых, серебряных или бронзовых медалей на первенство по такому-то виду спорта: «Поистине два „серебряных гола“ забил ростовчанин Матвеев. Дело в том, что, победив в Москве „Локомотив“ со счетом 2 : 1, команда СКА (Ростов-на-Дону) практически обеспечила себе второе место в чемпионате страны» («Комсомольская правда», 10 ноября 1966); «Золотые весла москвичей» («Комсомольская правда», 25 июля 1967); «В дополнительном „бронзовом“ заезде с Черановым Антонин Шваб вышел победителем» («Неделя», 1966, № 11).

Между только что созданными метафорами и совсем новыми значениями, утратившими связь со значениями старыми, есть много переходных ступеней. Рассматриваемые слова в неодинаковой степени потеряли свою переносность. Так, в словах *замок, трон* ясно ощущается образность, связь со старым значением, они используются в тексте с чисто

стилистическими целями. А вот другие слова — скажем, *титул, рыцарь, дуэль* — употребляются настолько часто, что можно уже считать их газетными штампами.

Более того, слова *корона, король, золото, серебро, бронза, золотой, серебряный, бронзовый* и некоторые другие не только расширяют и дополняют уже имевшиеся значения, но и обозначают новые, не зафиксированные ранее понятия. Многие из них постепенно становятся достоянием спортивной терминологии. Характерно, что весь этот ряд используется и в спортивном лекси-

коне стран Запада и Америки. Поэтому можно говорить о взаимовлиянии иностранной и советской спортивной лексики, о вхождении этих слов в фонд международной спортивной терминологии.

Ушли в далекое прошлое *короли и королевы, рыцари, замки и троны*. До недавнего времени оставались они только в волшебных сказках. Теперь, наполненные новым содержанием, эти слова перенеслись в спорт, и, кажется, надолго...

К. А. ЛОГИНОВА
Ленинград

5

Карета, автомобиль, машина

«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения», — говорил Остап Бендер, герой известного романа И. Ильфа и Е. Петрова. Стремление к отказу от использования домашних животных как единственного вида тяги повозки и перенесение источника двигательной силы на эту повозку — одна из причин изобретения автомобиля. С появлением новых видов автомобиля появлялись и новые названия. Действительно, как только ни называли изобретатели свое детище: и самодвижущая повозка, и самобеглая коляска, и самокат, и самодвижущийся экипаж и т. п.

История рождения автомобиля описана во многих книгах. Изобретение первого самодвижущегося экипажа, названного позднее автомобилем, приписывается французскому военному инженеру Киньо, который сделал его в 1769 году. Нас, естест-

венно, интересует само слово *автомобиль*.

Как свидетельствуют языковеды, слово это было образовано в 1890 году во Франции. Для создания его пришлось обратиться к латинскому и греческому языкам. Слово *автомобиль* представляет собой сложение частей греческого *аутос*, что значит 'сам' и латинского *мобилис* 'подвижный, двигающийся'.

Первые автомобили выпустили во Франции. С 1895 года в этой стране устраивались и автомобильные гонки. Французские фирмы экспортировали свои изделия во многие страны, стали широко распространяться руководства по управлению автомобилем, инструкции по уходу за ним. Хорошо была поставлена и реклама. И неудивительно, что слово *автомобиль* очень скоро «разъехалось» по всему свету.

Русский язык заимствовал его из

французского в конце XIX века. «Автомобиль», греческо-латинское — новейшего изобретения экипаж, приводимый в движение газовым или электрическим мотором-двигателем и способный развивать большую быстроту», — читаем мы в «Словаре научных терминов, иностранных слов и выражений, вошедших в русский язык» под редакцией В. В. Битнера (СПб., 1905).

Под влиянием транслитерации французские *automobile* и *auto* в русском языке стали произноситься как *автомобиль* и *авто* (несмотря на французское [oto]). Обрусение иностранных слов длилось всю первую четверть XX века. В это время, например, у слова *авто* наблюдаются некоторые грамматические колебания: оно употребляется то в среднем, то в мужском роде. С одной стороны, окончание роднило *авто* со словами среднего рода, с другой — аббревиатура невольно соотносилась с «полным» словом *автомобиль*. Ср.:

Не за лаковый топ
Я тебя любил,
мимолетный авто,
автомобиль.

К и р с а н о в.
От телеги к автомобилю

«Авто наш примчался откуда-то» (Форш. Сумасшедший корабль);
«Авто было сломано» (Лундберг. Записки писателя).

Иностранное слово *автомобиль* первое время многим было непонятно. Произносят его *автонобиль*, *ахтанобиль*, *автономобиль*, *втономобиль* и т. п.: «— Гони их отсюда, чего они раскатываются на ахтанобильях, мешают добрым людям» («Известия», 1930, № 265); «(Дунька:) Только что я всела в машину, а он кричит: „Высидь!“ Да чтоб я из автомобиля да высела?» (Тренев. Любовь Яровая).

На экзаменах тех времен шоферам даже задавали вопрос: «Что обозначает в переводе на русский язык *автомобиль*?». Требовалось дать ответ: «Слово *автомобиль* обозначает по-русски ‘самоход’, так как слово *авто* значит ‘сам’, *мобиль* ‘движение (ход)’».

Слову *автомобиль* суждено было заменить жившие в русском языке названия *экипаж*, *карета*, *самодвижущаяся карета*, *самодвижущийся экипаж*, и др. На рубеже XIX—XX веков они употреблялись довольно широко. Так, например, в 1898 году в Петербурге выходит книга Н. Песоцкого «Самодвижущиеся экипажи с паровым, бензиновыми и электрическими двигателями; экипажи с педалями». В ней можно прочесть следующее: «Устройство экипажа должно быть такое, чтобы он на ходу не пугал лошадей испускаемыми парами или дымом, шумом или другими способами».

В этой книге помещена реклама ряда иностранных фирм: «Анонимное общество автомобилей системы Пежо в Одинкуре (Дубс)»; «Автомобили Дюкруазе и сын. 15, улица Вольтера, Гренобль, Франция... Экипажи с механическими двигателями Дюкруазе. Системы Берре, патентованной системы».

В первой четверти XX века *экипаж*, *карета* и другие слова и словосочетания употребляются наряду с *автомобиль*. Однако со временем они не выдерживают конкуренции и уступают место новому названию. Как следствие этого появляются и словосочетания: грузовой автомобиль, паровой автомобиль, электрический автомобиль, автомобиль бензино-электрический и т. п.: «Для двухколесных и трехколесных автомобилей достаточно одного фонаря впереди и другого со сквозным по-

мерным знаком сзади или посредне боковой стороны экипажа. Автомобили должны иметь приспособление для дачи заднего хода» (Пашкевич. Автомобильный справочник. СПб., 1912—1913); «Вещи, забытые седоками в экипаже, шофферы обязаны немедленно возвращать по принадлежности» («Сборник вопросов и ответов по курсу автомобилизма». СПб., 1914).

Слово *карега* некоторое время еще продолжало жить в устойчивом сочетании *карега скорой помощи* (специально оборудованная автомашина для перевозки больных).

В первой четверти XX века получают распространение слова *автомашина* и *машина* как дублеты к *автомобиль* и *авто*. В газетах, журналах, книгах того времени читаем: «Автомобиль — не роскошь, а потребность, он должен стать у нас рабоче-крестьянским экипажем» («Автодер», 1928. № 1); «До объявления империалистической войны бывшая Россия насчитывала в составе своего автотранспорта около 12000 машин, главным образом легковых» («Местный транспорт», 1927, № 6); «Управляющий авто-машинкой не должен соскакивать с нее, когда она находится в движении, и не должен отходить от машины, когда она или только двигатель находится в действии» (Постановление Моссовета от 15 декабря 1925 года «О движении по улицам города Москвы»); «Если вы решили купить автомобиль или стать шофером, то прежде всего проверьте себя. Машину нужно любить. Она любит уход. Часто мы слышим жалобы на автомобили даже лучшей фабрики и хулим их, но

ни разу не спросим себя, не виноват ли я сам?» (Аркман. Шофер. М., 1917).

Сейчас автомобиль прочно вошел в народное хозяйство, без автомобиля невозможно представить нашей жизни. В деловом и разговорном стилях речи рождались и рождаются все новые видовые названия и обозначения разных его моделей и типов: КИМ и ГАЗ, ЗИЛ и ЯГ, ЯАЗ и ЯС, МАЗ и «Победа», «Москвич» и «Волга», «Чайка» и «Запорожец», эмка и легковушка, грузовик и скорая, автобус, самосвал и т. д.

Идут годы: одни слова, связанные с автомобилем, стали предметом истории, другие остались в активном словарном составе русского языка. Слова *автомобиль*, *автомашина*, *машина* употребляются сейчас в разных речевых жанрах и стилях. В официально-деловой речи уместно только слово *автомобиль*: «Сегодня утром с главного конвейера Уральского автомобильного завода сошла первая партия автомобилей высокой проходимости „Урал-375 К“» («Известия», 1968, № 304); ср.: *автомобильная промышленность*, *автомобильный завод*, *автомобилестроение* и др. Слова *автомашина* и *машина* характерны для разговорной речи. Слово *авто* в значении 'автомобиль' отдельно почти не употребляется, но широко используется для образования сложных слов: *автогараж*, *автогонки*, *автодело*, *автозавод*, *автоколонна*, *автокамера*, *автотранспорт*, *автопокрышка*, *автоприцеп* и др.

Кандидат филологических наук
В. Н. СЕРГЕЕВ

Ленинград

Предлог в качестве

Предлог *в качестве (кого-чего)* принадлежит к тем языковым средствам, которые могут обернуться в речи и добром и злом. Все дело в том, как ими пользоваться: либо предложение станет более концентрированным, более емким, либо — в неудачных случаях — стиль утяжелится, произойдет затемнение смысла. К сожалению, в современной речи заметно некоторое увлечение предлогом *в качестве* в ущерб ясности. Тем более важно разобраться в условиях его употребления.

Предложная конструкция *в качестве (кого-чего)*, как и описанная ранее конструкция *со стороны (кого)* (см.: «Русская речь», 1969, № 1), не входит в основной «костяк» (как говорят лингвисты, предикативный минимум) предложения, а распространяет его добавочным смыслом. В таком предложении можно увидеть как бы двойное сообщение об одном и том же предмете. Например, из фразы «Смирнов приехал в качестве ревизора» мы узнаем, что *Смирнов приехал* и что *Смирнов — ревизор*. Однако *Смирнов приехал* может быть и самостоятельным сообщением, это необходимый минимум предложения, а *Смирнов в качестве ревизора без приехал* предложения не составляет.

Можно сказать, что форма *в качестве (кого-чего)* вступает в предложение на основе параллельного включения. Это означает, что в предложении есть название предмета, обычно в роли субъекта или объекта действия, а к нему отнесено другое существительное, с предлогом *в качестве*, содержащее дополнительное сообщение о функции или назначении этого предмета. Иными словами, между этими двумя названиями предметов возможны отношения подлежащего и сказуемого: «Сережа уехал со школой *в качестве пионервожатого* в Рязанскую область» («Комсомольская правда», 8 мая 1967); «За годы безупречной службы *в качестве награды* он получил несколько часов — от наручных до настенных» («Красная звезда», 27 февраля 1966). Параллелизм отношений наглядно выступает при схематической записи этих примеров:

Сережа
в качестве пионервожатого уехал . . . (Сережа — пионервожатый).

Получил часы
в качестве награды (часы — награда).

Оборотной стороной структурного параллелизма является параллелизм смысловой. Исходя из этого, можно выделить четыре

основные разновидности конструкции *в качестве (кого-чего)*, наиболее употребительные в современном русском языке:

1. Как параллель к существительному, обозначающему лицо, или местоимению конструкция *в качестве (кого)* обозначает функцию названного лица по его служебному или общественному положению, профессии, роду занятий: «Судьба устроила так, что я попал *в качестве домашнего репетитора* в семью А. М. Горького» («Вечерняя Москва», 6 февраля 1968); «— *Вы в качестве консультанта* приглашены к нам, профессор? — спросил Берлиоз. — Да, консультантом» (Булгаков. Мастер и Маргарита).

Конструкция *в качестве (кого)* развивалась в русском языке в ряду с близкими по значению формами *кем* и *как кто*, отличаясь от них, помимо смысловых оттенков, стилистически: книжной окраской, что, кстати, использовал М. Булгаков в приведенном примере.

2. Как параллель к существительному, обозначающему предмет, конструкция *в качестве (чего)* обозначает назначение, способ использования предмета: «Победитель *в качестве приза* получит книгу Чуковского с его автографом» («Вечерняя Москва», 2 февраля 1968); «Эти *лазеры* применяются *в качестве катализаторов* химических реакций при высоких температурах» («Известия», 12 декабря 1968); «Изъятие, прием и передача *паспорта в качестве залога* запрещается» (Плакат Управления охраны общественного порядка. М., 1962).

И личное и предметное существительные, к которым подключается форма *в качестве (кого-чего)*, чаще всего занимают в предложении позиции субъекта в именительном, реже в дательном падеже, или объекта (в винительном падеже при переходных глаголах, именительном в страдательных оборотах, в родительном при отглагольных именах).

Отношения, выражаемые посредством предлога *в качестве (чего)*, часто бывают обратны отношениям, выражаемым конструкцией *в виде (чего)*.

Браслет *в качестве* украшения — Украшение *в виде* браслета.

Таблицы *в качестве* пособия — Пособие *в виде* таблиц.

Часы *в качестве* награды — Награда *в виде* часов.

Равным образом отношения «лицо — его функция», выражаемые с помощью конструкции *в качестве (кого)*, могут быть обратны отношениям, выражаемым с помощью предложной конструкции *в лице (кого)*:

В лице генерала приветствовали иностранного посла.

Генерала приветствовали *в качестве* иностранного посла.

С разными смысловыми акцентами в этих предложениях выражено одно и то же двойное сообщение (генерала приветствовали; генерал — посол).

Конструкция *в качестве (чего)* обычно включается в предложения, где говорится о том, что предмет меняет свою принадлеж-

ность (дать, вручить, принять, получить, рекомендовать и т. п.) или способ использования, применения. В последнем случае значение глагола или отглагольного имени более относительно и приближается к вспомогательному, соответственно уменьшается и степень членности предложения.

3. Употребление конструкции *в качестве (чего)* как параллели к отвлеченному имени (тоже обычно в винительном или именительном падеже) синтаксически осуществляется в тех же рамках на базе изменения принадлежности. Но отвлеченный переносный смысл глаголов (в принципе того же круга: принять, отвергнуть, предложить, выдвинуть и т. д.) и соотносимых имен расширяет смысловые возможности структуры, выводя сопоставление имен в интеллектуально-оценочный план: «*В качестве предвыборной платформы она выдвигает программу обновления Франции*» («Известия», 19 июня 1968), ср.: программа обновления Франция — предвыборная платформа; «*Человек ответствен... за принятие в качестве регуляторов и ориентиров именно таких, а не каких-либо иных принципов*» («Комсомольская правда», 16 августа 1967), ср.: принципы — регуляторы...

4. По-видимому, на основе предыдущей разновидности развивается употребление конструкции *в качестве + родительный падеж*, в которой место существительного в родительном занимает прилагательное. Если во всех рассмотренных ранее случаях отношения дополнительного сообщения между параллельно соотнесенными именами могли быть преобразованы в двусоставное предложение (Сережа — пионервожатый; Браслет — украшение; Принципы — регуляторы... и т. д.), то здесь в предикативной части оказывается прилагательное, обозначающее признак отвлеченного понятия: «*Автор хочет лишь сказать, что он не поддерживает в качестве единственно верной безусловно одностороннюю обменную теорию*» («Правда», 18 августа 1967), ср.: обменная теория — (не) единственно верная; «*Настоящий учебник арифметики для 5—6 классов печатается в качестве пробного*» («Арифметика». М., 1966), ср.: учебник — пробный.

Таковы основные случаи, в которых может быть употреблен предлог *в качестве*.

Теперь рассмотрим наиболее типичные ошибки в использовании этого предлога.

1) В предложении нет смысловых оснований для параллельного подключения конструкции *в качестве (чего)*, сопоставляемые имена не соотносятся как название предмета и его функция.

«По требованию рокфеллеровского лагеря, его выступление читали другие, чтобы Никсон не воспользовался трибуной в качестве нажима на делегатов» («Известия», 4 августа 1968), ср.: невозможность соотнесения *трибуна — нажим*; можно было бы соотнести: *трибуна — средство нажима, воспользоваться трибуной в качестве средства нажима*, но тогда уж проще и лучше: *воспользоваться трибуной для нажима*.

«Художник В. Вагин решил использовать рогожу в качестве переплета» («Известия», 21 октября 1968). Использовать рогожу в качестве переплета, очевидно, так же неудобно, как использовать, допустим, кожу в качестве ботинок. Можно, таким образом: *использовать рогожу в качестве материала для переплета, но еще лучше: использовать рогожу для переплета или сделать переплет из рогожи.*

2) Воспользовавшись терминами электротехники, можно сказать далее, что необходимое условие построения предложения с параллельно включаемой формой *в качестве (кого-чего)* — замкнутость цепи. Попробуем «отключить» конструкцию *в качестве (кого-чего)* — предложение должно остаться грамматически законченным. Иногда эту конструкцию подключают к незаконченному, «открытому» построению, в котором глагол или отглагольное существительное имеет относительное значение, нуждающееся в выполнении определенным, заданным, но не реализованным в данном предложении способом.

«В датском народе живо обсуждается вопрос об объявлении Дании в качестве безатомной и нейтральной зоны» («Комсомольская правда», 21 июня 1964). *Объявление Дании* — незамкнутая цепь, построение незаконченное, требующее творительного падежа, ср.: *объявление Дании нейтральной зоной.*

Автор цитировавшейся выше корреспонденции из «Известий» (4 августа 1968) и второй раз употребляет *в качестве* в том же тексте, так же неудачно: «Такой шаг рассматривается в качестве ловкого хода». И здесь часть построения без конструкции *в качестве (чего)* незаконченна, незамкнута, следовательно, нет условий для подключения данной конструкции, требуется другое выражение, например: рассматривается как ловкий ход.

3) Распространено смешение конструкций *в качестве (чего)* и *в порядке (чего)*. В семантике их действительно есть общее (назначение), но есть между ними и вполне определенная разница: *в качестве (чего)* выражает функциональное назначение предмета, *в порядке (чего)* — целевое назначение действия: «Ремонт проводится в качестве профилактики» (Радио). Не *ремонт — профилактика*, а *проводится* для, ради профилактики, следовательно, *в порядке профилактики.*

«Брошюра пойдет в печать в качестве обсуждения» (устное выступление). Не *брошюра — обсуждение*, а *печатается* для обсуждения, чтобы обсудить, следовательно, *в порядке обсуждения.*

Психологически употребление конструкции *в качестве (чего)* вместо *в порядке (чего)* объясняется, очевидно, тем, что говорящий ощущает более книжную, специфически деловую стилистическую окраску последней конструкции и интуитивно стремится избежать ее.

И все-таки обе эти конструкции остаются элементами книжно-делового стиля. Кроме критерия структурно-смыслового (правиль-

но — неправильно), который рассматривается в очерке, есть еще критерий стилистический или эстетический (уместно — неуместно, красиво — некрасиво). Он-то и должен предостерегать нас от употребления книжных конструкций без надобности.

Г. А. ЗОЛотова

Кандидат филологических наук

Из школьных сочинений

Существуют разнообразные речевые приемы создания комического. Но бывают случаи, когда смешные фразы создаются не в результате намеренного словоупотребления, а из-за незнания языка, неосознанного нарушения его норм. Мне как человеку, который много раз проверял сочинения поступающих в вуз, неоднократно приходилось сталкиваться с такого рода «юмором». С некоторых пор я стала его коллекционировать, и сегодня хочу показать читателю некоторую часть своего собрания. Однако мне не хотелось бы, чтоб эта статья стала просто развлекательной. Попробуем проанализировать смешные фразы, выявить часто встречающиеся ошибки. Попытаемся таким образом избавиться от непрошенного юмора!...

Пьеса «Па дне» была переведена на многие языки и произвела большой резонанс на читателей.

Необычное словосочетание *произвела резонанс* — гибрид двух устойчивых словосочетаний: «произвести впечатление на кого-либо» и «вызывать (или получить) резонанс у кого-либо, в каких-либо кругах». Следовательно, нужно было написать: «... произвела большое впечатление на читателей» или «... вызвала большой резонанс у читателей».

Когда после отъезда Хлестакова жандарм сообщает о приезде настоящего ревизора, все чиновники приходят в окаменение.

Слово *окаменение* здесь употреблено переносно и выражает известное состояние человека. Глагол *прийти* (с предлогом *в*) «в сочетании с некоторыми отвлеченными существительными употребляется в значении: проникнуться чувством, погрузиться в переживание», например: «прийти в восторг, ярость, недоумение, ужас, негодование», а также «в сочетании с некоторыми отвлеченными существительными употребляется в значении: дойти до определенного состояния, положения» (четырёхтомный «Словарь русского языка»), когда речь идет о неодушевленном предмете: «прийти и негодность, ветхость, упадок». Причина ошибки в нашем предложении — смешение этих двух сочетаний с глаголом *прийти* и неудачная перефразировка слов из «Ревизора»: «... вся группа... остается в окаменении». Итак: будьте внимательны к устойчивым оборотам, не путайте их. Приведем еще несколько примеров.

В тот период возмущение рабочих дальше разговоров не доходило (не идти дальше — дело не дошло до). Добролюбов под Катериной видел луч света, а под Кабанихой — темное царство (видеть кого-что в ком-чем — подразумевать кого-что под кем-чем).

В следующих двух предложениях опять не повезло устойчивым оборотам. Но ошибка здесь иная: произвольно заменена одна из частей оборота.

Человек умный, незаурядный, Печорин никак не может найти применение рукам своим.

Наша молодежь умеет мечтать, но она умеет и практически осуществлять свои мечты, отдаваясь всем телом своей работе.

Конечно, следует: «применение своим силам (или способностям)» и «всем существом», «всем сердцем», «всей душой».

Павел шел по стопам своего отца, который выражал свою неудовлетворенность жизнью на жене и сыне.

Здесь ошибка в словоупотреблении: написано *выражал*, а нужно *вымещал*. Неумение различать значения этих слов повлекло за собой и синтаксическую и логическую ошибки: *выражать* на можно употребить только по отношению к неодушевленным предметам (выражать свои мысли на бумаге).

Горький показал становление рабочего парня на революционный путь.

В этом предложении примерно та же ошибка, что и в предшествующем: неуместное присоединение предложно-падежной конструкции *на революционный путь*, вызванное непониманием слова *становление*, то есть *формирование*. Кроме того, здесь небезгрешен и стиль: в одном предложении неоправданно употреблено сугубо книжное слово *становление* и разговорное *парень*. Фразу можно исправить так: «Горький показал становление молодого рабочего-революционера» или «... как молодой рабочий становится революционером».

Я лично стала жертвой горьковских произведений, я их просто боготворю.

И здесь неверно употреблено слово (следует, конечно, не *жертва*, а скажем, *поклонница*), к тому же неестественно и *боготворю*. Следует, например: «они мне очень нравятся», «я их очень люблю».

Однажды Павел предупредил мать, что к нему придут запрещенные люди.

Ошибки в этом предложении внешне похожи на ошибки двух предыдущих: слово *запрещенный* сочетается только с неодушевленными предметами. Но поскольку окончившего десятилетку трудно заподозрить в непонимании слова *запрещенный*, будем считать, что перед нами случай неправильного выбора эпитета. Предложение можно исправить, например, так: «...люди, преследуемые законом».

Благодаря труду человек смог пройти огромный путь от первобытного стада к современному высокоразвитому обществу.

Само собой разумеется, что употребление слова *стадо* вместо

общество (ведь речь идет о человеке) логически не оправдано. Кроме того, здесь неправильно использованы предлоги. Когда речь идет об установлении каких-либо границ (в данном случае — об установлении границ пройденного пути), употребляют парные предлоги *от ... до*: «От Москвы до самых до окраин».

Гоголевские помещики неспособны к труду, в них все умерло, осталось только тело.

Словосочетание *в них... осталось только тело* нельзя считать правильным и логичным, так как выражаемые им понятия несоотносимы, не могут соответствовать действительности. Ничем не обосновано и противопоставление слов *все* и *тело* как духовного и физического начал в человеке. Видимо, писавший хотел сказать, что «...душа у них мертва, осталась только их телесная оболочка».

Собакевич считал всех людей подлецами, но, по словам Чичикова, он тоже хороший подлец.

Помимо слишком категорических обобщений и некоторых отступлений от подлинника с точки зрения достоверности фактов, в текст, по изложенным выше причинам, необоснованно включено разговорное слово *хороший*; оттенок разговорного стиля оно имеет потому, что в данном случае использовано для выражения отрицательной оценки (с пренебрежительно-неодобрительным оттенком). Фразу нужно было закончить примерно так: «... но и о самом Собакевиче Чичиков думал не лучше».

По дороге Чичиков заезжает к Коробочке. Это торговка и бескультурная женщина.

Поздрев — большой забияка, его знают все собаки в городе.

Все гоголевские помещики были горлохваты и дистрофики.

Кроме своеобразной трактовки гоголевского текста, и в этих предложениях по тем же причинам неопределенно употреблены разговорные слова *торговка* (оно использовано в том же плане, что и отмеченное уже *хороший*), *бескультурная*, *забияка*, *дистрофики* и даже просторечный фразеологизм (кстати, неточно приведенный) *каждая собака*.

Что же способствует появлению ошибок?

1. Смешение или неточное употребление фразеологизмов.
2. Непонимание значения слова.
3. Стиливые смешения.
4. Ошибки в управлении (неверный выбор падежа, предлога).
5. Немотивированный пропуск слов.
6. Неверное употребление метафоры, гиперболы, антитезы.
7. Отступления от истинного содержания текста, неумелое использование цитат.

Это основные, на мой взгляд, недостатки многих сочинений школьников.

С. С. ПЛЯМОВАТАЯ,
доцент

Оправданный случай синонимии в терминологии

Принято считать, что важнейшая цель терминологической работы — устранение синонимов. «Термин не должен иметь синонимов», — пишет Э. Натансон в статье «Требования, предъявляемые к научным и техническим терминам» («Научно-техническая информация». Серия 1, 1966, № 1).

Такой категоризм, однако, не был свойствен Д. С. Лотте, который предложил различать абсолютные и относительные синонимы. На практике уступкой синонимии является помета «допустимый», фигурирующая в любом терминологическом стандарте.

Вся острота проблемы ощущается лишь в тех случаях, когда встает вопрос об источниках синонимии. Нет нужды говорить о таком очевидном источнике синонимии, как заимствование. Причины заимствования научно-технических терминов те же, что и причины заимствования слов вообще.

До самого последнего времени синонимами считали разные по звучанию слова, обозначающие одно и то же понятие. Так определяли синоним исходя из того, что значение слова совпадает с его предметно-вещественным содержанием. Однако еще Ф. де Соссюр писал: «Для многих людей язык по своей основной сути представляется номенклатурой, то есть перечнем терминов, соответствующих такому же количеству вещей... Такое представление может быть подвергнуто критике во многих отношениях» (Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 77).

Математики Г. Фреге, Б. Рассел, А. Черч выдвинули иную точку зрения на значение слова и термина. Они утверждают, что содержание любого слова имеет две составные части: предмет, который обозначается этим словом, и его интерпретация, то есть способ оценки этого предмета.

Таким образом, один и тот же объект может быть рассмотрен с различных точек зрения. Предмет остается неизменным, меняется способ его обозначения в языке.

Подтверждением точки зрения математиков может служить современная практика терминообразования.

В последнее время приобрел известность термин **лавсан**. Это результат инициальной аббревиации наименования той лаборатории, в которой впервые был получен материал. Но в соответствии с правилами образования названий химических соединений по Женевской номенклатуре лавсан называется **полиэтилентерефталат**. Химики употребляют именно этот термин, несмотря на его длину, явно превышающую среднюю длину русского слова.

Полиэтилентерефталат — лавсан — относится к категории пластмасс на основе полимеров. В соответствии с ГОСТом 5752—51 название этого материала **тереplast**. Приведенный случай явной синонимии не единичен.

Следующая таблица содержит название одних и тех же материалов, рассматриваемых с различных точек зрения.

Торговое название	Химическое название	Техническое название
лавсан найлон 6 найлон 66 капрон орлон оргстекло	полиэтилентерефталат поликапроамид полигексаметилендиамид поликапроамид поликрилат полиметилметакрилат	тереplast капропласт амидоласт капроамидоласт нитеакрилопласт акрилопласт

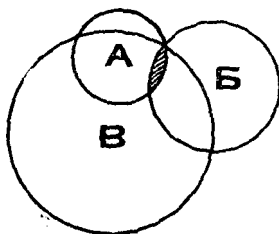
Таким образом, мы располагаем тремя рядами названий для одних и тех же материалов.

Термин **полиэтилентерефталат** выражает признаки, обусловленные классификацией полимеров — той классификацией химических соединений, основы которой были разработаны Н. Бутлеровым. Этот же материал может быть рассмотрен в окружении пластических масс на основе высокополимеров (термин **тереplast**). Торговые работники рассматривают данный материал в окружении товаров широкого потребления, носящем конъюнктурный характер.

Если в первых двух случаях можно говорить о систематизирующих свойствах терминов, поскольку здесь классификация материалов получила формальное выражение в структуре и семантике слов, то в последнем случае выбор признаков, отображенных в форме термина, явно произволен. Природа названия **лавсан** та же, что и природа названия нового материала **курлен**, о создании которого было написано в газете «Советская Россия» (27 января 1969), названного в честь города Курска, хотя это название воспринимается как заимствованное из другого языка (по аналогии со словами **терилен**, **моллен**). Подобные слова Г. О. Винокур в свое время предложил называть номенклатурными наименованиями и отличать их от терминологии.

Перечисленные в таблице термины и номенклатурные наименования синонимичны постольку, поскольку выражают одни и те же материалы (объекты). Как говорит Г. Фреге, совпадая по значению, они различаются по смыслу, то есть по способу репрезентации.

Перед нами наглядный пример так называемого случая с перекрещивающимися множествами, что видно из следующей схемы (автор не придает строгий математический смысл термину «множество»):



где **А** — множество полимеров, **Б** — множество пластических масс на основе высокополимеров, **В** — множество товаров широкого потребления.

Из схемы видно, что все эти множества в каком-то сегменте пересекаются. Поэтому одни и те же предметы, расположенные в пределах заштрихованного сегмента, будут называться, во-первых, в соответствии с правилами образования терминов для пластмасс (ГОСТ 5752-51), во-вторых, в соответствии с правилами образования органических соединений (по Женевской химической номенклатуре), в-третьих, в соответствии со сложившейся практикой образования торговых названий в стране. Приведенный случай синонимии в научно-технической терминологии не был описан лингвистами.

Однако точка зрения математиков, разделяемая многими видными лингвистами, может привести к далеко идущим последствиям. В самом деле, классификация любого множества объектов всегда относительна. Например, все множество тех же пластических масс можно описать с технологической, конструкторской, химической точек зрения. Означает ли это, что технологи должны пользоваться терминологией, разработанной применительно к классификации с технологической точки зрения, ученые-химики иметь свою терминологию, работники планирующих организаций — свою. По-видимому, нет. Между тем такая тенденция заметна даже в практике подготовки нормативных документов, устанавливающих образование научно-технических терминов.

«Не следует стремиться к единой классификации всех нетканых материалов, нужно принять две классификации — отдельно для материалов, получаемых механическими и физико-химическими способами», — таково решение секции центрального правления научно-технического общества легкой промышленности.

Упомянутый ГОСТ 5752-51 устанавливает три модели термина для пластических масс: химическую, техническую и так называемую общетехническую. Перед нами яркий пример признания синонимичности в терминологии. Оправдан ли такой подход? Рассмотрим каждую из моделей в отдельности.

Модель химического термина

поли-(терминоэлемент, указывающий на принадлежность к полимерам)	Морфемы, описывающие основные компоненты
--	--

Примеры: поливинилхлорид, полиэтилен, полистирол.

Все термины пластических масс на основе высокополимеров образуются по правилам построения названий полимеров и соответственно имеют «ограниченную сферу применения».

Модель общетехнического термина

Связующее (описывается корневыми морфемами)	Терминоэлемент-пласт
---	----------------------

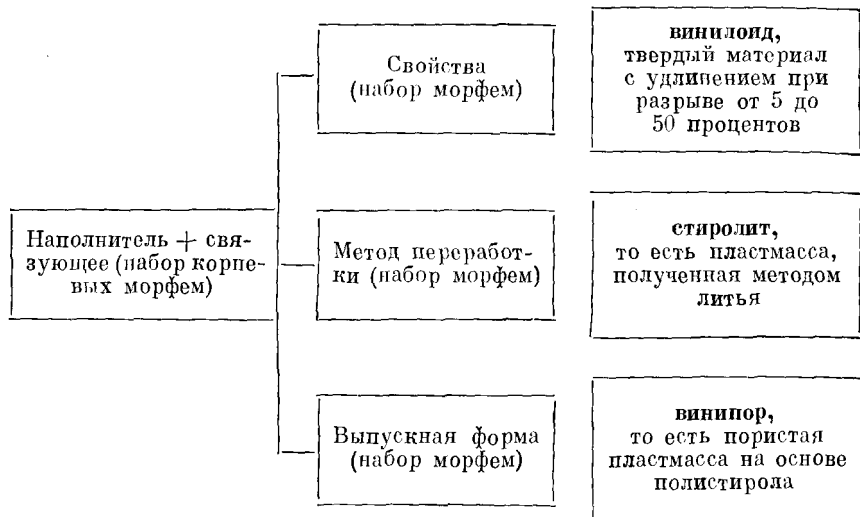
Примеры: винипласт, стиропласт, амидопласт.

Недостаток этой модели термина в том, что она не может быть распространена на все виды пластических масс, например, на пластические массы,

содержащие наполнитель. Следовательно, одной модели термина для полимера недостаточно, поскольку существует множество пластических масс, содержащих, кроме связующего (полимера), наполнитель, пластификатор и другие вещества. Кроме того, данная модель не позволяет получить информацию относительно технологических свойств пластмассы, методов ее получения и других параметров. Недостатки общетехнической модели термина должны быть, по мнению разрабатывающих стандарт, восполнены технической моделью.

Модель технического термина

Примеры



(все примеры взяты из ГОСТа 5752—51)

Общетехнические термины относятся к техническим как родовые к видовым.

При составлении ГОСТа его авторы пришли к выводу, что нельзя одновременно использовать модель термина для полимеров и пластических масс на основе полимеров, поскольку объем множества пластмасс не совпадает с объемом множества полимерных материалов. Кроме того, классификация полимерных материалов отличается от классификации пластических масс. Однако авторам не удалось выработать классификацию пластических масс как готовых изделий, то есть классификации материалов с технической точки зрения. Попытки решить проблему путем выделения общетехнических и технических моделей потерпели неудачу. «Ввиду некоторой сложности,— пишет А. Архангельский,— терминология, установленная ГОСТом, практического применения не получила» (Пластические массы. М., 1963).

Тем не менее ГОСТ оказал значительное влияние на подготовку отраслевых нормативных документов по терминологии пластических масс. Инженеры-строители взяли на вооружение техническую модель термина, полностью игнорируя «химизм». Дополнив установленную ГОСТом техническую модель

новыми аспектами содержания, они установили новые правила образования терминов для пластических масс применительно к тем требованиям, которым должна удовлетворять техническая терминология для пластмасс с сугубо строительной точки зрения. В целом модель термина, разработанная строителями, принимает следующий вид:

Выпускная форма + наполнитель + связующее (наборы корневых морфем)	Терминоэлемент -пласт или-лит (-ит)
---	--

Примеры: плитоасболокнит, пленкотекстолит, пленкостиропласт, пеновинилпласт, асборезит.

Один из недостатков этой модели — наличие двух терминоэлементов: **-пласт** — распространяется на все виды пластмасс и **-лит (-ит)** — только на те материалы, которые получены методом литья и формования.

Дальнейшая терминологическая работа в области пластических масс должна быть сосредоточена на разработке эффективной классификации пластических масс с технической точки зрения. Будущая модель должна быть ориентирована на все контингенты специалистов, исключая химиков. Не следует опасаться того, что она станет синонимом модели термина для полимеров — модели, уже разработанной и получившей международное признание среди химиков. Как уже отмечалось, источник синонимии в данном случае — перекрещивающиеся множества. Будущая модель термина должна содержать терминоэлемент, который указывал бы на принадлежность данного материала к пластическим массам. В качестве такого терминоэлемента целесообразно использовать морфему **пласт**, которая уже стала составной частью многих терминов для пластических масс. Терминоэлементу **пласт** в модели для полимеров будет противостоять терминоэлемент **поли**. Таким образом, можно устранить и омонимию в терминологии для пластмасс.

Загипнотизированные ходячей идеей о недопустимости синонимии, авторы нормативных документов пытаются представить техническую модель термина как универсальную. Упустив из виду специфический источник синонимии, обусловленный перекрещивающимися множествами, они могут допустить серьезную ошибку. И тогда потребитель — ученый, инженер, плановик — отвергнет разработанные рекомендации, как это случилось с ГОСТом 5752—51.

И. В. ВЕСЕЛОВ

ЛИТЕРАТУРА

- Как работать над терминологией. М., 1968.
 Д. С. Лотте. Основы построения научно-технической терминологии. М., 1964.
 А. А. Реформатский. Что такое термин и терминология. М., 1959.
 Терминологический словарь по научной информации. М., 1966.
 Н. В. Юлмапов. Элементы международной терминологии. Словарь-справочник. М., 1968.

Из истории слов и выражений



КРИТИК

Это и другие однокоренные слова появились в русском литературно-публицистическом языке в XVIII веке. Прототипы слов *критик* и *критика* в русском и других языках: латинское *criticus* — ‘ценитель’, латинское *critica* и греческое *kritikē* — ‘способность разбирать, критика’. В современных словарях и исследованиях не находим точных, обоснованных указаний на время появления этих слов, что объясняется недостаточной изученностью лексики русского литературного языка первой половины XVIII века. Так, по данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, слово *критик* в русском языке существует «с середины XVIII века» (со ссылкой на Д. Д. Благого), а *критика* — «с Тредиаковского». В свою очередь Д. Д. Благой (см. его «Историю русской литературы XVIII в.», М., 1951) исходит в основном из общего рассуждения: поскольку жанр критики оформляется в русской литературе с середины XVIII века, соответствующие названия надо ожидать не раньше. В качестве под-

тверждения приводится сатира VII А. Д. Кантемира (1739), где в значении ‘критик’ выступает описательное выражение *острый судья*; автор сетует на отсутствие у нас более определенного термина: «*Острый судья*. Именем судьи здесь разумеется всяк, кто рассуждает наши дела; французы имеют на то речь *critique*, которой жаль, что наш язык лишается».

Однако несколькими годами позже тот же А. Д. Кантемир в малоизученных пока примечаниях к переводу «Писем» (послани) Горация все же вводит недостающий термин: «Судья, кои о состоянии и доброты книг судят, критиками называются у латин и других народов...». Здесь он не раз употребляет слово в тексте, например, в следующем описании эпизода литературной борьбы античных авторов: «Его суперник, видя, что Гораций употребляет против него суд критиков, противопологает суд же других критиков, которые его мнение защищают».

Это ранний пример употребления слова, и здесь оно еще соотносится с другими, близкими по смыслу наименованиями, служащими для его пояснения: судья, острый судья и др. С середины XVIII века слово *критик* свободно выступает в произведениях разных авторов — В. К. Тредиаковского, ученика Ломоносова Н. Н. Поповского, известного русского мыслителя Я. П. Козельского, в академических «Ежемесячных сочинениях» 50-х годов XVIII века и др.

В это время появляется и слово *критика* в значениях — ‘определенный жанр выступления’, ‘акт критики’. Оно встречается не только у Тредиаковского, но и в произведениях других писателей — раньше, чем считалось до сих пор: в «Ежемесячных сочинениях», у Самарокова, в письмах Фонвизина 60-х годов. Даже убежденный противник заимствований А. А. Шишков употребляет слово *критика* как совсем обычное; дополнение к его главной работе, где собраны возражения против карамзинистов и их «нового» слога, так и называется: «Прибавление к сочинению, называемому „Рассуждение о старом и новом

слоге русского языка», или собрание критик, изданных на сию книгу, с примечаниями на оны» (СПб., 1804). Со второй половины XVIII века возникает глагол этого корня *критиковать*, также сразу широко распространяющийся, а в первой трети XIX века — существительное с обобщенным значением *критицизм*.

Вот некоторые примеры употребления этих слов. Обосновывая тщательность выполненного им перевода стихотворного «Опыта о человеке» А. Попа (1757), Н. Н. Поповский указывал в предисловии: «Я не критиком был, но переводчиком» (имел в виду только перевод, но не разбор написанного автором и не полемику с ним). У Сумарокова в серии «Некоторые статьи о добродетели» как идеал положительных критических выступлений указано: «Добродетельных людей критики». В ироническом контексте в курсе «Знания, касающиеся вообще до философии» (1751) деятеля Академии наук Г. Н. Теплова: «Тот с досады больше аристотелевы дела [взгляды, труды] критиковал».

В XVIII веке заимствования, в том числе однокоренные, входят в язык чаще всего каждое в отдельности и еще редко производятся целыми гнездами. В русском языке XVIII века *критик* не производное от *критиковать*, а *критиковать* не образовано от *критика*. Все они преимущественно появлялись в языке поодиночке, отдельно друг от друга, и лишь постепенно в XVIII — первой половине XIX века между ними осознаются и осмысливаются словопроизводные иерархические отношения — от морфологически более простого слова к более сложному. Это особенно важно учитывать применительно к прилагательным на *-ический*, которые в большом количестве начинают появляться в новое время (XVIII—XIX века) и нередко возникают хронологически раньше других однокоренных образований. Так, слово *критический* 'содержащий суждение, оценку' (как и *моральный*, *аналитический*, *аналогический* и др.) встречается еще в Петровскую эпоху обычно как опреде-

ление в таких сочетаниях: критическое описание, рассуждение, наблюдение и т. д. Позднее, когда в языке уже утвердились слова *критик*, *критика*, слово входит в общий ряд производных этого корня.

В моей заметке о слове *кризис* («Русская речь», 1967, № 5) говорилось о том, что развитие во второй половине XVIII века другого гнезда, со словом *кризис*, создает омонимию двух прилагательных: *критический* от *кризис* (критический период, критическое положение и др.) и *критический* от *критика*. В словарях XVIII века (в том числе «Словаре Академии Российской») они рассматриваются еще как разные значения одного слова.

До середины XIX века у слов *критик*, *критика* появляются и некоторые другие знакомые нам свойства. Так, еще с того времени берет начало бытовое осмысление слова *критика* (соответственно *критик*, *критиковать*) как 'хуление, осуждение', тогда как строго литературное и терминологическое его значение — 'компетентный разбор, оценка'. Например, профессор Московского университета П. А. Соханский так формулирует задачу литературной критики: «Тонкий, разборчивый, критический смысл и суд о ее [литературы] произведениях». «Бытовое» понимание слова нашло отражение в некоторых словарях XVIII века, в частности в четырехязычном «Новом лексиконе» (1755) указано: «Critique, criticus, censor. Переговорщик, оуждатель, пересудчик, критик», а «Словарь Академии Российской» констатировал, что слово *критика* так «иногда, хотя и неправильно, употребляется». До сих пор подобное употребление широко держится в разговорно-литературной сфере речи: «Он подвергся критике» значит 'его поругали, упрекнули в чем-то'; такой же смысл имеют фразы: «критические (то есть укоряющие) замечания»; «Книгу сильно критиковали» (возможность употребления обстоятельства *сильно* само по себе указывает на «отрицательную» направленность оценки).

В. В. ВЕСЕЛИТСКИЙ

НАШЕНЫЯ КРУЖКЕ



КИСАБЫХ ШЦЕЙ

Капуста — обязательная составная часть щей. Это знает каждая хозяйка.

Однако не всегда и не везде, оказывается, щи приготавливались с капустой. В Вятской губернии и на Амуре, например, *щами* называли любой суп (борщ, мясной суп и т. п.). В Архангельской области до сих пор употребляется слово *шти* применительно к супу вообще.

Пожалуй, наиболее широко распространено в русских народных говорах слово *щи* в значении 'суп с крупой'. Жители Капшинского района Ленинградской области знают *щи гущаные*, то есть приготовленные из ячменной крупы. Крупяные *щи* варили в Новгородской, Пермской, Томской губерниях, в Сибири, Якутии, на Амуре. В Вологодской губернии в такую похлебку клали мясо. Весьма любопытно замечание одного из собирателей народной лексики, который утверждает, что в Томской губернии «шти варят или из простой яичной крупы или из полбы; не любят щей капустных». Этому утверждению вполне соответствует наблюдение этнографа Е. Матвеевой, записавшей в 1925 году, что в Вятской губернии «с мясом варят *щи*, заправляя картошкой, морковью, крупой и редко — капустой». Там же, где название *щи* закрепилось за супом из капусты, саму капусту тоже стали называть *щами*: «Я купил щей сто штук», «Почем нынче щи?» — так могли сказать, например, жители Псковской, Нижегородской, Ярославской губерний, Якутии, имея в виду нечаянную капусту, а отнюдь не похлебку.

В Новосибирской области щипарят обязательно с мясом. «Похлебка, — говорят местные жители, — это без мяса суп, а если с мясом, то шти, хоть с картошкой, хоть с ланшой — все одно — шти».

Из свежих грибов (обычно белых и рыжиков) варят *постные щи* в Вологодской области. В Вятской — *постные шти* 'овсянка' в отличие от *штей молосних* 'обычного супа'. В Пермской губернии и на Амуре варили *толстые щи* 'суп из ячменной крупы со сметаной или без нее'. Можно сварить *щи* из рыбы, как это делали в Архангельской области. Жители Олонецкого края различали два рыбных блюда: *уху* и *щи*. *Щи* готовили из сушеной рыбы с крупой, а *ухой* называли то же блюдо, но из свежей рыбы и без крупы.

Вот о каком забавном случае рассказал в связи с этим ленинградский диалектолог И. А. Попов: «Летом 1959 года я жил на берегу Онежского озера. Как-то моя хозяйка, хлебосольная и приветливая старушка, пригласила меня к столу щей отведать „Спасибо, бабушка, — отвечаю ей, — я кислого не могу есть“. „Как кислого? — всполошилась хозяйка. — Вчера сварены! Ты ведь сам ел да хвалил!“. „Так это же уха была!“ — воскликнул я, вспомнив отменную рыбную похлебку, которой накануне кормила меня хозяйка. Только тут я сообразил, что щами-то в здешних местах уху называют». Потому и в сказке А. Толстого «Русалка» дед «стал щи из сметков варить».

Широко известно выражение *Попал, как кур во щи*, означающее 'попасть в беду'. «Не во щи, а в ощи!» — утверждают некоторые, исходя из того, что щей с курицей не бывает. Не избежал ошибки и писатель Б. Тимофеев, который в своей книге «Правильно ли мы говорим?» решительно поддержал это широко распространенное искажение, заявив, что «из кур, как правило, щей не варят». Писатель не учел, однако, что в некоторых областях России щами называли мясной суп из дичи. Такие *щи из дичи* зафиксированы в диалектных материалах И. И. Срезневского. Так что выражения *Попал, как кур во щи*, *Гусь во щи* (ярославское) в действительности связаны с народным способом приготовления супа, похлебки из дичи, называемой *щами*. Чехов ничуть не ошибался, когда писал в письме к поэту Плещееву: «Мне симпатичен Боборыкин, и будет жаль, если он очутится в положении курицы, попавшей во щи».

Вернемся к названию нашей заметки. Оно взято из «Арапа Петра Великого» Пушкина: «А кто виноват? — сказал Гаврила Афанасьевич, напена кружку кислых щей...». Полноте! Что это за «пенящиеся в кружке щи»? Другое дело: «Дымятся щи, вино в бокале...» И тоже А. С. Пушкин (Послание к Юдину). Может быть в «Арапе Петра Великого» поэт допустил неточность?

Отнюдь нет! Таких *кислых щей* можно немало найти в русской литературе: «...Крепости лопали, как бутылки с кислыми щами» (Марлипский. Испытание); «Что за несносное создание! Всегда закипает и шипит, ни дать ни взять бутылка дряных кислых щей» (Тургенев. Ночь); «Там играла музыка, продавали водку... кислые щи, которые пили преимущественно девицы» (Решетников. Глуховы); «...И опять стал есть [Тихон Ильич] колбасу и подрукавный [из второсортной муки. — Е. Э.] хлеб, пить чай, сырую воду, кислые щи — и все никак не мог утолить жажды» (Бунин. Деревня). А вот и разгадка: «...Кислые щи — напиток, который так газирован, что его приходилось закупоривать в шампанки, а то всякую бутылку разорвет» (Гиляровский. Москва и москвичи).

До недавнего времени *кислыми щами* назывался пшпучий напиток, особого рода квас, приготавливавшийся обычно из пшеничной муки. Эти *кислые щи* шипели и пенились довольно долго — от Пушкина до Бунина. И, быть может, вспомнив секрет приготовления напитка, так хорошо утолявшего жажду, наши кулинары нальют когда-нибудь в ваши кружки старинных «кислых щей».



Куриная уха



«Что за уха! Да как жирна: как будто янтарем подернулась она!». Кто не знает этих строк из басни И. А. Крылова, вызывающих в памяти аромат чудесного рыбного супа, ухи — кушанья, издавна известного и любимого на Руси!

А можно ли сварить уху ...без рыбы? «Какая же это уха?» — справедливо удивится читатель. Но не торопитесь с выводами...

Раскроем изданную в Казани в конце прошлого века «Книгу, глаголемую прохладный Вертоград» — одно из самых популярных медицинских сочинений второй половины XVII века. Среди множества рассуждений о пользе различных кушаний найдем и такие: «Уха курячья прята растение творить доброй крови»; «Крупы гречишныя варены въ ухъ мясной, бываетъ ѣства добрая»; «Уха гороховая здорова и сильна есть». В памятниках XI—XIV веков встречается *уха личная*, *уха ривифиновая* (ривифъ — разновидность гороха). А вот о чем читаем в одном из памятников XII века: «Аще сливы обрящутся, съварятъ и ты... и почърпають и тѣхъ оухоу». Уха из слив! Но ведь это скорее компот!

Когда-то слово *уха* имело несколько иное значение, чем в современном русском языке. Старинная *уха* — это вообще всякая (не обязательно рыбная) похлебка, навар. Вот почему *ухой* называли и гороховую похлебку, и мясной и рыбный супы, и даже то, что сейчас мы называем компотом.

Конечно, наши предки варили уху и из рыбы. Так, в Воскресенской летописи читаем: «Покушаше отъ ухъ, и мясныя, и рыбныя, и вина испи...». Но в древности слово *уха* обычно имело при себе определение, уточнявшее, из чего именно приготовлено это кушанье. Со временем на-

добность в подобном определении отпала, так как название *уха* закрепилось лишь за похлебкой, готовившейся из рыбы. Однако, древнее значение слова сохранилось в некоторых русских говорах.

В Вельском районе Архангельской области *ухой* до сих пор называют не только рыбный суп, но и суп из свежих грибов, а на Дону, в Воронежской и Курской областях *ухá*, *юхá*, *юшка* 'бульон, навар, жидкая часть кушанья'. Крестьяне, жившие на Кубани, могли, например, сказать: «Петро самый смак поел, а мне одну юшку оставил». В Усть-Лабинском районе Краснодарского края *юшка* и в наши дни — 'жидкая часть супа, борща; жижка'. В Смоленской губернии *юшку* варили еще и из раков. Вот что поется в песне, записанной в тех местах:

Баба рака купила,
Три полушки дала,
Три дни юшку варила,
Сладка юшка была!

В. И. Даль отмечал, что на севере и западе России *ушнбе* — «...суп [т. е. не щи], мясной навар, лапша или похлебка из бараньих черев», а *уш-нйк* в Московской, Орловской, Владимирской губерниях — 'жидкая размазня с мясом; похлебка, кашлица; похлебка с рублеными кишками'.

Интересно отметить и то, что в русских говорах для обозначения рыбного супа едва ли не шире, чем слово *уха*, распространено название, заимствованное из тюркских языков, — *щербá*. «Што за щерба, кум, словно янтарь, из живых стерлядей! Айда, расхлебаем!» (Казанская губерния). Не правда ли, напоминает известные строки И. А. Крылова?

Слово *щербá* распространено в тех областях России, население которых в силу каких-либо причин находилось в контакте с тюркскими народами (южные районы, Поволжье, Сибирь). Оттуда оно проникло и в другие места — вплоть до Севера нашей страны. *Щербá* во всех областях — только 'суп из рыбы'. Лишь в Саратовской области *щербу* варят еще из рыбной икры, а под Казанью — из раков.

В Архангельской области, где рыбную похлебку называют также *ухой* и *щами*, *щербой* именуют суп из мелкой рыбы (в отличие от настоящей *ухи* и *щей* — супа из сушеной рыбы).

Как и слово *уха*, заимствованное из германских языков, где оно означает 'бульон, навар', так и *щерба* (в татарском и турецком языках просто суп, не обязательно рыбный) сохранило это значение в русских народных говорах. Так, уральские казаки и жители Тобольской губернии называли *щербой* 'всякое жидкое варево'. В других местах это название закрепилось лишь за наваром из рыбы: «Станешь щербу хлебать? Рыбу-то сами съели, а щербу в собачий котел вылили» (Якутия). Именно такое значение слова *щерба* было известно Гоголю — 'вода, в которой была сварена рыба'.

Вернемся, однако, к ухе. Лесков в рассказе «Зимний день» утверждал: «Уху нельзя сварить без рыбы». А раньше уха без рыбы была обычным явлением.

Е. Н. ЭТЕРЛЕИ

Ленинград



Читатель М. С. Медведев (Архангельск) интересуется происхождением названий старинных русских городов Каргополь и Холмогоры (Архангельская область. Холмогоры, по современному административному делению, — село). Он обращает внимание на то, что имеется ряд толкований этих топонимов (см.: В. А. Никонов. Краткий топонимический словарь; М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка), и спрашивает, какие из них можно считать наиболее верными.

Шрав М. С. Медведев, предполагая, что название *Каргополь* не имеет никакого отношения к русскому диалектному *каргá* 'ворона'. Слово *каргá* — тюркского происхождения, а между тем тюркских географических названий на русском Севере нет. Поскольку основа *карг-* в названии города на материале русского языка не объясняется, стоит обратиться к данным финских языков, некогда распространенных и на территории современной Архангельской и Вологодской областей. Значительная часть диалектных терминов, а также многие географические названия русского Севера получают объяснение именно при сопоставлении с фактами прибалтийско-финских и саамского языков. Известно, что контакты севернорусов с соседними финно-угорскими народами были в древности очень широкими и тесными. Эти контакты хорошо прослеживаются по данным языка. Достаточно сослаться на работы известного этимолога — финно-угроведа Я. Калима, например на книгу «Die ostseefinnische Lehnwörter in Russischen» (сб. «Mémoires de la Société Finno-Ougrienne». Т. 44. Helsinki, 1919); из новых работ по топонимике отметим научно-популярную книгу А. И. Попова «Географические названия» (М.—Л., 1965), в которой говорится и о севернорусских названиях финского происхождения.

Основа *карг-* скорее всего связана с финским словом *karhu* 'медведь'; это было указано в свое время М. А. Веске (Славяно-финские культурные отношения по данным языка.— «Известия Общества истории, археологии и этнографии при Ка-

ГОРОДА РОССИИ

занском университете», 1890, вып. 1). Мнение некоторых ученых, что это финское слово не встречается за пределами Финляндии, несостоятельно. Во-первых, слово *karhi* известно в фольклорных текстах одного из диалектов карельского языка (ливвиковского), во-вторых, основа *карг-* имеет широчайшее распространение в прибалтийско-финской по происхождению топонимике Архангельской области. Ее можно обнаружить, например, в названиях рек *Карга, Каргой, Каргой, Каргова*, деревни *Каргомень*; несколько раз встречается здесь и название *Карго-реки*. «Медвежья» реки, озера, деревни на русском Севере весьма обычны, и это не должно вызывать удивления при том хозяйственном и ритуальном значении, которое имел в свое время медведь у народа охотников и рыболовов — древней чуди. Очевидно, это слово было известно ныне вымершим прибалтийско-финским наречиям Севера.

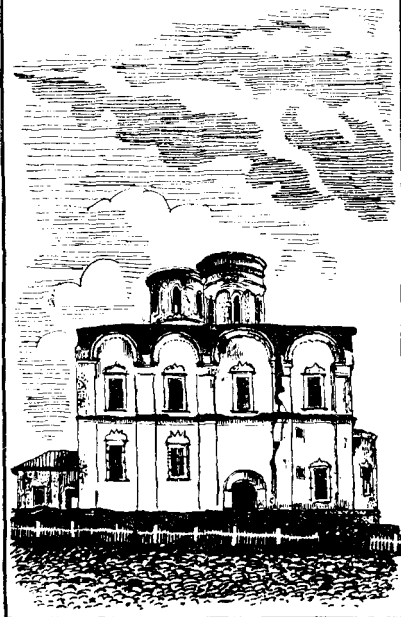
Более сомнительно сопоставление названия *Каргополь* со словом *карга* 'скалистая отмель, заливаемая водой'. В русских говорах в этом значении засвидетельствовано *кóрга* (источник его — карельское *корго* 'каменная или песчаная мель'). Русское диалектное *карга* имеет совсем другое значение — 'заболоченное место в лесу'. Нисколько не лучше и сравнение с карельским *карг-* 'боронить' (ср. финское *karhita* 'боронить', *karhi* 'борона'). По значению эта основа вряд ли сюда подходит; можно ли настаивать на том, что *Каргозеро, Каргополь* первоначально означали 'Боропешное озеро', 'Боропешное поле'?

Со второй частью названия *Каргополь* дело обстоит еще сложнее. Конечно, нельзя отрицать того, что возможна прямая связь элемента *-поль* с финским *puoli* 'сторона, половина'. Однако есть и другие объяснения. В Архангельской области отмечены такие названия, как: Карьеполье, Лайполье, Кузополье или Карполя, Хонполя, Никополя. Эти названия очень похожи на русские образования типа *Чернополье* из *Черное Поле*, часто выступающие в роли топонимов. На фоне этих названий можно видеть во второй части сложения перевод финского *pelto* 'поле' — 'Медвежье поле', либо финское *puoli* переосмысленное в русское *поле* (-полье). В таком часто употреблявшемся названии, каким было в прошлом имя этого важного для севернорусов города, вполне могли произойти и фонетико-морфологические изменения. Название среднего рода *Каргополье* могло превратиться в слово мужского рода *Каргополь*: ведь само слово *город* — мужского рода. О том, что такое изменение возможно, говорит и название села *Каргополье* в Курганской области, независимо от того, связано оно с названием города *Каргополь* или с тюркским *карга* 'ворона', вполне возможным для этой территории.

Впоследствии название *Каргополь*, естественно, вошло в ряд топонимов, имеющих вторым элементом *-поль* (из древнегреческого *polis* 'город'); Никополь, Севастополь, Симферополь, Ставрополь и т. д.

Итак, первичное значение слова *Каргополь* — скорее всего, 'медвежья сторона' или 'медвежье поле'.

ХОЛМО- ГОРЫ



Ссылаясь на книгу К. Молчанова «Описание Архангельской губернии» (СПб., 1813), М. С. Медведев считает, что название *Холмогоры* восходит к чудскому *Холмогардия* 'островное правительство', претерпевшему изменения (*Холмогар* > *Холмогор* > *Холмогоры*). Однако в «чудских» (финно-угорских) языках нет слов *холм* 'остров' и *гардия* 'правительство'. В данном случае чудскими ошибочно названы скандинавские слова (ср., например,

шведские *hólme* 'островок' и *gård* 'двор, хутор'), а между тем скандинавской топонимикой на русском Севере пока не выявлено. Но суть дела даже не в этом.

Форма *Холмогоры* появляется только на рубеже XVII—XVIII веков, например, в «Актах Холмогорской Епархии» 1692 года. До этого времени употреблялось исключительно название *Колмогоры*, засвидетельствованное во множестве документов. Значит, форма *Холмогоры* — вторичная, более поздняя. Она возникла на русской почве по так называемой народной этимологии (сближение названия с сочетанием русских слов *холмы* и *горы*). Кстати, кроме известных всем *Холмогор — Колмогор*, есть еще деревня *Кблмогора* в Лешуконском районе и урочище *Кблмогоры* в Плесецком районе Архангельской области. Не слишком ли много «областных правительств»? К тому же деревня *Колмогора*, в которой автору этих строк пришлось побывать, находится на берегу реки Мезени, а не на острове. Источники названия *Холмогоры — Колмогоры* явно следует искать не в скандинавских, а в финно-угорских языках.

Как же можно объяснить это название? Есть две наиболее убедительные версии. Первая, идущая еще от Н. М. Карамзина, состоит в том, что элемент *колм-* связан с финско-карельским словом *kalme* 'три', то есть *Колмогоры* 'Три горы', 'Трехгорка'. Доказать истинность данной этимологии можно, только проверив на месте, действительно ли все эти названия связаны с географическими объектами, расположенными на трех горах.

Вторая версия еще более заманчива: *Колмогоры* — из финско-карельского *kalma* 'смерть, могила', то есть

‘Могильная гора’ (или ‘Кладбищенская гора’). Таких *Могильных гор* в русской топонимике множество. Финское *a* здесь отражается через русское *o*, как и во многих других древних заимствованиях из финских языков: ср., например, финские названия городов *Karjala, Lappi, Votja* и соответствующие русские *Карѣла, Лопь, Водь*. Не исключено и то, что одни *Колмогоры* происходят от финского *kolme*, а другие — от *kalma*. Установить истину крайне трудно.

Что касается второй части названия, то она, конечно, связана со

всей массой севернорусских названий, оканчивающихся на *-горы* (Матигоры, Карпогоры, Пильегоры и др.): по-видимому, это перевод финского *vaaga*, карельского *voara* ‘гора, горка’. Связь с финским *kaigi* ‘подводный камень, риф’ сомнительна, так как никаких особых рифов в этих местах нет. Горами же называют любой более или менее возвышенный берег. Не имеет сюда никакого отношения и коми-зырянское *кар* ‘город’.

А. К. МАТВЕЕВ
Свердловск



ВСЕГДА ЛИ ОБЫВАТЕЛЬ БЫЛ ОБЫВАТЕЛЕМ?

На классовом фронте
ширятся стычки, —
враг наступает
и скрыто
и голо.

Комсомолю,
готовься к переключке
боевой
готовности
комсомола.

Обыватель
вылезает из норы кротовой,
готовится
махровой розой расцвести.

Товарищи,
а вы
к отпору готовы?

Отвечай, комсомолец:
«Готово!
Есть!»

Маяковский И. Лозунги к комсомольской переключке. Готовься! Целься!

«Обыватель — это человек, отрывчато, изолированно думающий, не связывающий себя ни с чем и ни с кем» (М. И. Калинин. Речь на совещании учителей... 28 декабря 1938 года).

В современном литературном языке существительное *обыватель* — ‘человек, лишенный общественного кругозора, с косными мещанскими взглядами, живущий мелкими, личными интересами’ (Словарь современного русского литературного языка). В нашем языковом сознании это слово ассоциируется с другим, имеющим то же значение — *мещанин*. Оба слова относятся к одному синонимическому ряду и в словаре толкуются одно через другое: *«Мещанин — человек с мелкими ограниченными интересами и узким кругозором; обыватель»*.

Любопытен пример употребления слова *обыватель* в стихотворении Я. Смелякова «Сосед»:

Здравствуй, давний мой приятель,
гражданин преклонных лет,
неприметный обыватель,
поселковый мой сосед.

Захожу я без оглядки
в твой дошатый малый дом:
я люблю четыре грядки
и рябину под окном.

Это всё весьма умело
не спеша поставил ты
для житейской пользы дела
и еще для красоты...

Пусть тебя за то ругают,
перестроиться веля,
что твоя не пропадает,
а шевелится земля...

Не ваятель, не стяжатель,
не какой-то сукни сын —
мой товарищ, обыватель,
непременный гражданин.

Здесь *обыватель* имеет явно иное значение. Поэт дает его в контексте рядом с такими существительными, как *товарищ*, *гражданин*. Может быть, это неправильное употребление слова *обыватель*? Оказывается, оно в современном значении стало известно только с конца XIX века, а первоначально слово означало: «постоянный житель какой-либо местности». Это устаревшее теперь значение мы и находим в стихотворении Я. Смелякова. Слово это — заимствованное. Оно пришло к нам из польского языка в Петровскую эпоху и стало синонимом исконно русского слова *житель*.

«Словарь Академии Российской» (1789), определяя *житель* как «обитатель, обыватель, тот кто постоянно живет, обитает где», указывает тем самым на общее лексическое значение его со словом *обыватель*. Этот же словарь, как и «Словарь церковнославянского и русского языка» (1847), у слова *обыватель* намечает как бы некоторый смысловой оттенок отношения к владению: «гражданин, имеющий дом в каком-либо месте».

А вот показания некоторых иноязычных словарей того времени, при составлении которых «все острее вы-

ступают вопросы литературной синонимики для передачи тех или иных греческих, латинских, польских, немецких, голландских слов» (В. В. Виноградов. — «Ученые записки МГУ». Вып. 106. 1946, стр. 29).

В «Немецко-латино-русском лексиконе» Вейсмана (1731) (первая словарная фиксация существительного *обыватель*) находим: *Einwohner*, *incola*, *житель*, *обыватель*. Здесь очевидно синонимичность этих слов. «Новый лексикон на французском, немецком, латинском и на российском языках» С. Волчкова (1764) дает к наименованиям *Habitant d'un pays* (французское), *ein Einwohner eines Landes* (немецкое), *Incola* (латинское) то же толкование — «житель, обыватель».

О синонимичности этих существительных свидетельствует перевод их в иноязычных словарях одним и тем же словом. Так, в «Лексиконе российском и французском» (1762): *житель* — *un habitant*, *обыватель* — *un habitant*. В «Российском с немецкими и французскими переводами словаре» И. Ноддстета (1780—1782): *житель* — *der Einwohner*, *Bewohner*, *l'habitant*; *обыватель* — *der Einwohner*, *l'habitant*.

В письменных источниках существительное *обыватель* появляется раньше. Показательно его употребление в официально-деловой речи Петровской эпохи (указы, манифесты, воинские и морские уставы, личная переписка Петра I): «А чрез обывателей никогда ничего ведать не можно, ибо они не надежны» (Материалы для истории морского дела при Петре Великом, в 1717—1720 годах); «...Да с ним Муртазовю напешо будут четыре папи с войски для строения Азовской, Петровской и Лютинской крепостей, о чем-де от салтана и указ в Азов к азовским обывателям, чтоб провиант готовили, прислан» (Протоколы, журналы и указы Верховного Тайного совета, 1726—1730).

Аналогичные примеры встречаются и в воронежских Петровских актах (1695—1707), и в грамотах, указах о крестьянах (1723). Существительное *обыватель* используются и выдающийся публицист Петровской эпохи В. Н. Татищев в своей «Истории Российской» и В. К. Тредиаков-

ский в переводном романе «Езда в эстров любви» (1730): «Хотя сие место весьма многолюдно, однако кажется, что никого нет, понеже все того места обыватели любят весьма уединение» и в переводе в прозе «Послания Пизонам» Горация.

Слова *обыватель* и *житель* употребляются и в одном и том же контексте. В «Описании Камчатки» С. П. Крашенинникова (1755): «Итурские и Уриские обыватели называют себя кых-курилы и имеют особливый язык и сходство с Кунаширскими жителями». Интересны конкретные примеры бытования этих двух существительных в «Переписке» Г. Р. Державина. «...Сега с собой ни на дровнях, ни на телеге за водополью и переправами провезть невозможно, да и у обывателей нет» (от Серебрякова и Герасимова, 14 апреля 1774); «Приезжай, братец, поскорее и нагони на них страх; авось подействуют всего лучше ваши слова и тем успокоятся жители» (от Новосельцева и Свербева).

Общее лексическое значение этих двух слов подтверждается их сочетаемостью. *Обыватель* и *житель* в большинстве случаев употребляются в текстах с согласованными определениями, обозначающими название места, населенного пункта, города: обыватели мальковские, березовские, заволжские; жители петербургские, саратовские, самарские, иргизские, житель нарышкинский, выгорецкий.

Во многих письмах отмечается полный параллелизм соответствующих сочетаний (мальковские обыватели и мальковские жители): «Корпус... состоять будет... из 200 человек пехоты да конницы, мальковских обывателей» (Библикову); «Крестьянину Александру Васильеву и мальковскому жителю Ивану Терентьеву учинили смертное убийство, коих ругательски и повесили» (от Злобина). В письме Г. Р. Державина «Он из укрывательства своего вышел П. С. Потемкину (14 августа 1774): и тиранил... помощию самых мальковских обывателей экономического казначея поручика Тишина...». И дальше: «Мальковские жители, как скоро коснулось до них язва, также из явного их к жестокости усердия сделались злодеи».

Павлу I, напуганному французской революцией, везде мерещились революционные заговоры. Был запрещен ввоз иностранной литературы, преследовалась французская мода. Русский царь не выносил некоторых слов, которые, как ему казалось, передавали «мятежный дух» Франции. И в 1797 году был издан декрет об «Изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими». Было повелено употреблять слова *житель* и *обыватель* вместо *гражданин*.

Итак, слово *обыватель* так же, как и слово *житель*, в языке XVIII века относилось к нейтральной лексике и не имело стилистической окраски.

Аналогично употреблялись и производные слова *обывательский*, *обывательство*: «В городе составить городовую обывательскую книгу, в коей вписать обывателей того города...» (Полный свод законов, 1785); «...до 10 дворов обывательских» (Крашенинников. Описание Камчатки).

Слово *обывательство* (не отмеченное, кстати, в словарях XVIII века) имело значение «жительство, место проживания»: «Красной флаг от Малты на мидделанском море, на котором белой крест; которой есть герб кавалеров святого Иоанна из Иерусалима, нынешняго настоящего времени имя свое имеющие: кавалеры молтанские, ради их обывательства на том острове» (Новое галанское карабелное строение вместе снесено чрез Карлуса Алярда).

Существительное *обыватель* как синоним слова *житель* сохранилось и в литературном языке XIX века: «...Найдено до трех сот убитых и раненых обывателей» (Пушкин. История пугачевского бунта); «...Слово волость означает всякое городское, сельское и вообще земское общество, состоящее по крайней мере из 1000 обывателей мужского пола» (Пестель. «Русская Правда»); «Вчера один из наших почтенных обывателей, Мухобосов, так увлекся вашей игрой, что записал с первого акта» (А. Островский. Без вины виноватые); «В бричке сидело двое N-ских обывателей» (Чехов. Степь); «Все мы, шупшенские обыватели, мечтали о приезде гостей...» (Н. К. Крупская. Письмо М. А. Ульяновой, 22 января 1893).

Го же значение отмечается и у производных слов: «На берегах рек и озер собирались обыватели и обывательницы» (Ключевский. Курс русской истории); «Через два квартала уже поле. Туда гоняют пастись обывательских коров...» (Вересаев. В юные годы).

Интересно отметить употребление прилагательного *обывательский* в таких сочетаниях, как *обывательские лошади*, *обывательские подводки*, которые представляют собой в известной степени терминированные сочетания. В «Энциклопедическом словаре» Ф. Павленкова (1899) так объясняется выражение *обывательские подводки*: «Обывательские подводки — вид натуральной повинности. Обывательские подводки могут быть требуемы войсками и чиновниками, проезжающими по казенной надобности в определенных, указанных законами, случаях и поставляемых населением». А в «Словаре языка Пушкина» (1959) дается следующее толкование сочетанию *обывательские лошади*: «нанимаемые у обывателей, не почтовые». Например у В. Г. Короленко: «Я избегал пользоваться обывательскими лошадьми, чтобы не придавать своим поездкам характера официальности» (В голодной степи).

Все эти примеры свидетельствуют о том, что существительное *обыватель* в конце XIX века было еще очень распространенным и обычным в своем исходном значении. Но в это же время появляется и новое значение слова. Интересен следующий пример из рассказа Чехова «Ярмарка»: «Маленький, еле видимый городишко... Жителей его можно по пальцам пересчитать: голова, надзиратель, батюшка, учитель, дячок, человек, ходящий на каланче, дячок, два-три обывателя, два жандарма — и больше, кажется, никого...». Здесь слова *житель* и *обыватель* уже не синонимы: *обыватель* выступает как видовое понятие по отношению к *житель* — родовому понятию. В значении слова *обыватель* намечается сужение и в то же время наполнение новым социальным содержанием. Затем оно приобретает отрицательную эмоционально-оценочную характеристику: «Обыватели своими разговорами взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его [Ионьча]... пока с обывателем играешь в карты

или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглухой человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в туник или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти» (Чехов. Ионьча).

Одновременно с семантической и стилистической дифференциацией слова происходит смысловая и стилистическая эволюция его производных.

«[Соня:] А вы довольны жизнью?»

[Астров:] Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души» (Чехов. Дядя Ваня); «...Так как корреспондент в заключение обещал вскрыть на этом фоне „разные эпизоды повседневного обывательского прозябания“, то у Трубинова опять прибыло в нашем городе несколько подписчиков» (Короленко. История моего современника). Более поздний пример: «Он ехидно высмеял обывательниц-инженерш, выставил на позор левацкое фразерство жены Гая» («Литературная газета», 8 марта 1934).

Так в конце XIX века происходит сдвиг в значении слова *обыватель*, в известной мере вызванный социальной дифференциацией общества, при которой разные социальные группы по-разному относились к общественной жизни России. Существительное *обыватель* начинает обозначать не жителя, как это было раньше, а человека, чуждого острым социальным вопросам действительности, понятию гражданского долга: «[Суслов:] Мы все здесь дети мешан. Мы ...много голодали и волновались в юности... Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте — вот наша психология... Я не юноша! Меня бесполезно учить! Я взрослый человек, я рядовой русский человек, русский обыватель! Я обыватель — и больше ничего-с. Вот мой план жизни» (М. Горький. Дачники).

Итак, слово *обыватель* и его производные, развивая переносное значение, приобретают более обобщенный смысл и становятся словами отрицательной экспрессивно-идеологической оценки. Его мастерски использует в своих работах В. И. Ленин,

говоря о людях, отличающихся политической близорукостью, незрелостью, шаткостью и неустойчивостью своих воззрений. Оно вовлекается в сферу общественно-политической лексики: «Обыватель никогда не руководится твердым миросозерцанием, принципами цельной партийной тактики. Он всегда плывет по течению, слепо отдаваясь настроению» (В. И. Ленин. Политическое положение и задачи рабочего класса). Или: «Обыватель удовлетворяется той бесспорной, святой и *пустой* истиной, что нельзя знать наперед, будет революция или нет. Марксист не удовлетворяется этим; он говорит: наша пропаганда и пропаганда всех социал-демократических рабочих входит *одним из определителей того*, будет революция или нет» (В. И. Ленин. Платформа реформистов и платформа революционных социал-демократов).

Особый отрицательно-экспрессивный оттенок приобретает отвлеченное существительное *обывательщина*, впервые включенное И. А. Бодуэном де Куртене в третье издание Словаря В. И. Даля (1907). Это слово, видимо, появилось в самом конце XIX века (Ю. С. Сорокин. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы). Например: «Мне всегда вспоминается отец: отчего он не погиб, отчего не опустился до обывательщины, до выпивоки и карт в клубе» (Вересаев, В юные годы); «Опутали революцию обывательщины нити. Страшнее Врангеля обывательский быт» (Маяковский. О дряни).

Некоторые наши авторы используют с той же стилистической оценкой

отвлеченное существительное *обывательство*, которое не фиксируется словарями современного литературного языка: «Он [беспризорник Вакир] даже настроился произносить острые речи перед пассажирами, отличая их в бездушии, в обывательстве, в равнодушии к общественным неполадкам» (Гладков. Энергия).

История слова *обыватель* и его производных может служить иллюстрацией к одной из внутренних закономерностей развития лексической системы языка, которая проявляется в такой общей тенденции, как семантические изменения слов, то есть изменения значений. Слово вошло в литературный обиход нашего времени в своем переносном значении, с иллюстрацией которого мы и начали статью. Употребляясь в новом значении, оно становилось членом другого синонимического ряда (обыватель — мешанин): «Я не мешанин и не заскорузлый обыватель» («Правда», 30 апреля 1967);

Мешанин и обыватель
 Про него бубнит весь век:
 — Фантазер, пустой мечтатель,
 Несерьезный человек!

Асадов.

Будьте счастливы, мечтатели

Примечание. В статье использованы, кроме собранных автором материалов, материалы трех словарных картотек Института русского языка АН СССР: малого древнерусского словаря, словаря языка XVIII века и словаря современного русского литературного языка.

К. П. СМОЛИНА

Мы теперь стараемся все наши идеалы и типы, взятые из жизни, как можно реальнее и правдивее изобразить до самых мельчайших бытовых подробностей, а главное, мы считаем первым условием художественности в изображении данного типа верную передачу его образа выражения, т. е. языка и даже склада речи, которым определяется самый тон роли.

А. Н. Островский. 1885.



ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ГРЕЧЕСКОМ ВЛИЯНИИ НА ЯЗЫК ДРЕВНЕРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Семантические и фразеологические кальки

Издавна существовали тесные культурные, торговые и политические связи между восточнославянскими племенами и их южными соседями — византийцами. Они особенно укрепились после балканских войн шестого века, а к концу десятого столетия, когда население Киевской Руси приняло христианство, зеркалом тесных контактов наших предков с греками стала письменность.

До нас дошло не так уж много рукописей, относящихся к началу древнерусской литературной традиции, но почти каждая из них несет на себе след греческого влияния. Оно особенно заметно в смысловой сфере языка. И многие грецизмы, пройдя испытание временем, живут среди слов современного русского языка, в смысловой их структуре и в словосочетаниях. Иноязычное влияние проявляется в виде непосредственного заимствования слов или прямого перевода их — калькирования.

«Самое начало древнерусской письменности и письменной культуры во всех ее жанрах связано с перенесением на Русь богослужебно-религиозных книг» (Ф. П. Филин. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи. Л., 1949). Эти книги были переводами с греческого на древнеславянский литературный язык. Кальки с греческого первоначально появлялись в переводных сочинениях, затем они проникали и в произведения оригинальной литературы.

Они не характерны для делового и эпистолярного жанров, а встречаются главным образом в произведениях, которые безусловно можно считать написанными на литературном языке: в «словах», поучениях, житиях и в переводной хронике, а также в оригинальной художественной литературе и в летописях. Следует иметь в виду, что во всем читающем обществе тексты этого рода тогда прилежно изучались, многократно переписывались, и потому они оказали большое влияние на дальнейшее развитие литературного языка вплоть до нового времени. В круг широкого чтения и переписывания входили также переводные сочинения исторического характера, составленные как в Болгарии («Хроника» Иоанна Малалы), так и в Киевской Руси («Хроника» Георгия Амарто-

ла), переводные сборники поучений и переведенные древнерусскими книжниками произведения героико-эпического жанра, тоже либо болгарского, либо восточнославянского происхождения.

Калька всегда — следствие необычной для испытывающего влияние языка сочетаемости. Так, если глагол *просвѣтити* (*просвѣщати*), который имел исконные значения ‘засветить’, ‘зажечь’, приобрел новые значения — ‘сообщить знания’, ‘окрестить’, ‘прославить’, ‘совершенствовать’, ‘украсить’, то это произошло потому, что он стал употребляться не только с наименованиями источников света (свѣча, лучина), но и с наименованиями лиц: «Крщениемъ просвѣтилъ еси всѣхъ насъ блгочстыи цсрю Русскыи» («Слово о законе и благодати» митрополита Илариона) — и с такими существительными, как *лице*, *очи*, *сръдце*: «От тмы къ свѣту приближающеса, очи и срдце просвѣщаемъ» (там же), *душа*, а также *манастыръ*: «Показалъ еси такъ свѣтильникъ въ мѣстѣ семь, ... иже просвѣти манастыръ свой» (Житие Феодосия), *миръ*. Не свойственная глаголу искони сочетаемость заимствована у греческих глаголов *phōtíein*, *phōtízein*, которые, как и древнерусский *просвѣтити*, образованы от корня со значением ‘свет’ (ср. интернационализмы нового времени: фотография, фотон и др.). В данном случае круг сочетаемости глагола *просвѣтити* (*просвѣщати*) расширился весьма значительно за счет слов с разнообразными значениями. Такие кальки называют с е м а н т и ч е с к и м и, то есть смысловыми.

Но бывает и так, что заимствуется сочетаемость лишь с ограниченной группой слов, близких по смыслу. Так, под влиянием греческого *proágein* глагол *привести* (*приводити*) стал употребляться не только с наименованиями лиц: «Повоева всю землю Чюдскоую, а полона [пленных] приведе бецисла» (Новгородская I летопись), но и с существительными *притъча*, *прошение*, *правьда*, *слово*, *съмысль*, *разумъ*. Здесь едва ли можно говорить о расширении значения глагола *привести* (*приводити*). Сочетания глагола с упомянутыми существительными в целом имеют общее значение ‘подкрепить словом или мыслью свое мнение’. Например: «И да привести правдоу вѣчноую и запечатлѣти видѣное» («Хроника» Георгия Амартола). Здесь влияние сочетаемости ощущается в большей степени, чем у глагола *просвѣтити* (*просвѣщати*), настолько, что измененное значение совершенно не ощущается вне определенного контекста. В данном случае уместно говорить о ф р а з е о л о г и ч е с к о м калькировании. Фразеологические кальки образовали своеобразное гнездо (ср. его развитие в современном русском языке: *привести мысль*, *пример*, *притчу*, *цитату*..., где прослеживается то же общее значение ‘подкрепить словом или мыслью свое мнение’).

Нередко встречается и такое заимствование сочетаемости, которое распространяется лишь на одно слово. К фразеологическим калькам такого рода относится *хранити тайну* (греческое *mystērion krýptein*, *phylássein mystēria*). На греческой почве в сочета-

нии с существительным *mystērion* (*mystēria*) глагол *phylássein* 'охранять', 'стеречь' сближался с глаголом *krýptein* 'скрывать'. Это изменение значения *phylássein*, вызванное индивидуальной сочетаемостью, было повторено в переводе *хранити таину* (ср. в украинском *берегти таємницю* при абсолютной невозможности сочетания *хоронити таємницю*).

СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ

Правило

В оригинальном русском памятнике «Софийский временник» есть фраза, указывающая на то, что это слово в долитературный период развития русского языка было связано с понятием ровной поверхности, прямизны: «Тягиня [тяжесть] того каменіа погвѣтетъ в мѣсто и правило стѣны извихляется». Это подтверждает и древнейшее употребление прилагательного *правый*: «Будуть стрѣльцѣная [неровные, трудные (пути)] въ правая и острии въ пути гладѣкъ» (Остромирово евангелие), а также тот факт, что глагол *правити* первоначально означал 'направлять': «Гзакъ бѣжити сѣрымъ влъкомъ; Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону Великому» (Слово о полку Игореве).

К той же понятийной сфере относилось греческое *καὶν*. В античный период это слово имело в числе прочих значения 'отвес', 'линейка для графления'. На этой основе развились значения 'мера', 'мерило', 'образец', 'норма', 'постановление', 'устав', которые под влиянием греческого *καὶν* распространились на славянское слово *правило* сначала в переводных, а затем и в оригинальных текстах. Например: «По святыхъ отецъ и святыхъ апостолъ правиломъ» (Псковская I летопись). Можно думать, что и слово *правитель* первоначально было связано с идеей прямизны, неуклонности: «Оузда коневѣ [коню] правитель есть и въздържаніе» (Изборник 1076 года). Последующие значения — 'рулевой', 'кормчий', 'наставник', 'руководитель' и под. могли возникнуть на русской почве без иноязычного влияния, в связи с тем, что существовал вариант слова с другим ударением: *п̀равило* — *п`равило*, последнее издавна имело значение 'руль'.

Рука

Под влиянием греческого это слово приобрело значение 'власть', 'господство'. В Изборнике 1073 года: «Еже въ роукоу врачевскоу надежду имѣти своего съдравія скотьское». Особенно распространены сочетания *подъ руку* и *подъ рукою* (*руками*) в соответствии с греческим *ὑπὸ τὰς χεῖρας*. Так, в Ефремовской кормчей: «Под законными роуками быти» (*ὑπὸ τὰς τὸν νόμον χεῖρας ginesthai*). Слово *рука* в указанном значении широко проникло и в оригинальные сочинения, причем не только богослужебного и богословского, но и светского содержания. В Лаврентьевской летописи находим:

«...впадоша Олговичемъ в руцѣ», в Ипатьевской летописи: «Бяше бо тогда в рукахъ его». Дополнительным аргументом в пользу того, что значение 'власть', 'господство' развилось под влиянием греческого, является тот факт, что в древнерусских текстах нет промежуточного значения 'сила', 'насилие'. В греческом это значение есть.

Свойство

Когда это слово выступает в значении 'близость', в соответствии с греческим *eggýtēs*, например: «Елико друголюбци къ своимъ другомъ имоуще свойство» (Златоустрий XII века), — облик его, по-видимому, исконно славянский (ср. *своаяк* 'муж жениной сестры'). Но *своиство* уже в древнерусском языке имело также значения 'особое качество', 'отличительный признак': «Три же личеса и три собства, коеждо съ своиствомъ» (Изборник 1073 года). В этом случае *своиство* соответствует греческому *idíon*, *idíōta*, *idíōtes*. Дело в том, что прилагательное *ídios* означает, с одной стороны, то же, что древнерусское *свои*, с другой стороны — 'особый', 'своеобразный', 'отличный'. Это и привело к развитию нового необычного значения в древнерусском слове.

Слава

Этимологическая связь *слава* — *слово* несомненна. Она развивалась, вероятно, следующим образом. От *слово* — глагол *слутити* 'называться', то есть собственно 'обладать словом', 'иметь название': «Понетъское море... словеть Руское» (Лаврентьевская летопись). Каузатив (глагол со значением 'вызывать соответствующее действие') от *слутити* с обычным для таких образований чередованием гласных — *славити*, а *слава* — существительное, связанное с этим глаголом. В таком случае древнейшим из многочисленных значений *слава* должно быть наиболее связанное со значениями *слово* — 'мнение'. Греческое соответствие — *δόξα*. Все остальные значения: *слава* 'прославление', 'хвала', 'благодарение', 'почет', 'честь', 'величие' — повторяют соответствующие значения греческого *δόξα*. В пользу этого говорит тот факт, что смысловая структура древнерусского *слово* — 'значение', 'смысл', 'поучение', 'беседа', 'спор', 'совет', 'показание', 'свидетельство', 'обещание', 'приказ', 'закон', 'заповедь', 'часть речи', 'буква' — не имеет, за исключением упомянутого 'мнение', со смысловой структурой *слава* ничего общего.

Судьба

В древнерусском это слово значило 'суд': «Благовѣріе, правдоу и судьбу нелицемѣрною и милость и отпоущеніе» (Послание Никифора, митрополита Киевского, Владимиру Мономаху), кроме того, 'приговор', 'правосудие' и 'предопределение'. Послед-

нее значение — под влиянием греческого, благодаря специфическому употреблению в богослужебных и богословских текстах, например: «О бжствныхъ соудьбахъ, яко ни единъ же можетъ сихъ оубъжати» (Пандекты Никона Черногорца), где греческое соответствие *krima* означает также 'решение', 'приговор', 'суждение'. В современном русском языке из всех значений у слова *судьба* сохранилось лишь последнее.

Съмирение/съмѣрение

Согласно своей этимологии слово *съмирение* должно было иметь значения, связанные со словом *миръ* 'умиротворение', 'договор', а *съмѣрение* — значения, связанные с *мѣра* 'обуздание', 'покорность', 'кротость', 'уничужение'. В древнерусском языке вплоть до XVI—XVII веков звуки *и* и *ѣ* в безударном положении различались, так что фонетических условий для смешения этих слов не было. Однако в памятниках древнерусской письменности по смыслу они не различаются. Так, в значении 'покорность' наряду со словом *съмѣрение* выступает также *съмирение*: «Призри на смирение мое и подави же разумъ срѣцу моему» (Житие Бориса и Глеба), а *съмѣрение* употребляется в значении 'мирный договор': «О съмѣрениі томъ сънидошася, [сошлись, договорились] такомъ срамьнѣ [позорном] и недостоинѣ Роумьскыя руки» (13 слов Григория Назианзина). Произошло это не без влияния греческого существительного *tapeinōsis*, этимологически связанного с прилагательным *tapeinōs* 'низкий', 'мелкий' и с глаголом *tapeinun* 'понижать', 'убавлять'. *Tapeinōsis* означает 'унижение', 'уменьшение', 'сглаживание', 'затумешивание', 'примирение' и объединяет, таким образом, в себе значения обоих древнерусских слов. Этот факт при наличии звуковой близости *съмирение* и *съмѣрение* не мог не найти отражения в памятниках переводной, а затем и оригинальной письменности.

Дальнейшая история этих двух слов любопытна: в современном русском они сохранились в одном звучании, за которым закрепилась смысловая структура *съмѣрение*. А орфографический облик современного слова опирается не на *съмѣрение*, а на *съмирение*.

Сънабѣдѣти

Первоначально это слово значило 'сохранить': «Спси мя млтвами си и сънабѣди елико же хочещи и можещи» (Минея 1097 года) и 'оберегать': «Яко же бо въ овощи [в огороде] пудило [пугало] ничесо же не сънабѣдитъ, тако же и бози их» (Послание пророка Иеремии). Соответствие — греческое *phylássein*. Но *phylássein* означает также 'снискасть', 'получить', 'доставить', 'принести'. Это привело к аналогичному развитию смысловой структуры у слова *сънабѣдѣти*. Например: «Сънабѣди ми очищение дѣлѣмъ въздръжания» (13 слов Григория Назианзина).

Тържество

Первоначально — в качестве производного от *тързь* 'купля — продажа', 'рынок': «Тържьствоу подобно есть все сълоучье [на рынке всё случай]: вѣдѣи [знающий, умелый] коуплю дѣати приобряштеть много, а невѣдыи и тѣштеты приемлеть [понесет убытки]» (Пандекты Антиоха). Греческое соответствие — *ραπέγυγίς*, что означало первоначально 'многочисленное (всеобщее) собрание'. Отсюда уже в древнегреческом — 'всенародное празднество', что нашло свое отражение в древнерусском: «Тѣмъ же тя блажимъ [восхваляем] и стое твое дньсѣ сътваряемъ тържьжество» (Минея 1096 года). Соответствие то же — *ραπέγυγίς*. Ср. новогреческое *ραπέγυγι* — 'ярмарка', 'праздник', 'торжество'.

Упражняи ся

Исконное значение 'быть свободным' (от дела, от работы); ср. современные русские *праздний, праздник*: «Въ понедѣльникъ антипаскы мниси оупражняются от роучныхъ дѣлъ своихъ» (Устав Студийский XII века). Этому глаголу соответствует греческий *scholázein*, образованный от существительного *scholē* 'досуг', 'свободное время', но также и 'занятие на досуге', 'сочинение', 'трактат', 'философское учение'; ср. в современном русском (через латинское посредство) — *схоласт, схоластика* и через латино-польское посредство — *школа*. Глагол *scholázein* означает, таким образом, не только 'быть свободным', но и 'заниматься чем-либо', 'предаваться какому-либо делу'. Отсюда новое значение слова *упражняи ся*: «Въ томъ коумиролужении съкръвенѣ емь [тайно] оупражняися» (Ефремовская кормчая).

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ-ГНЕЗДА

Рассматривая словосочетания глаголов с абстрактными существительными в винительном падеже без предлога в переводных памятниках древнерусской письменности и сопоставляя их с тождественными по значению отрезками текстов в греческих оригиналах, мы обнаружили факты двух родов. В одних случаях древнерусским сочетаниям могут соответствовать в греческом одиночные глаголы или отличные от древнерусских конструкции. Например: сътворити скръбь — *thlíbein*, дати съвѣтъ — *sumbuleúein* «Хроника» Георгия Амартола); прияти мьсть — *apolaúein tēs atupēs* («Иудейская война» Иосифа Флавия).

Кроме глаголов *сътворити, прияти, дати*, такого рода сочетания образовали глаголы *въздати, възяти, въздвигнути, имѣти, съдѣяти, яти*. У нас есть основания считать такие сочетания исконно славянскими, не зависимыми от греческих образцов. В других случаях

сочетания всегда повторяют греческий оригинал. В древнерусских текстах нет ни одного примера, когда бы конструкции с абстрактными существительными, образованные глаголами *исплънити*, *навести*, *нанести*, *оставити*, *побѣдити*, *привести*, *принести*, *разрушити*, *(съ)блюсти*, *(съ)хранити*, *удръжати*, *уоставити*, не имели в греческих текстах в качестве соответствия таких же сочетаний, причем образованных точными эквивалентами древнерусских глаголов. Та же картина в древнеславянских переводах кирилло-мефодиевской поры. Из этого можно заключить, что эти славянские глаголы заимствовали сочетаемость из греческого языка. Так образовались фразеологические кальки-гнезда. Вот некоторые из них.

Исплънити...

а) 'совершить какое-либо действие': исплънити жертву: «Не члвкъ въ црквь вношаше огнь, нъ пламы съшедши, еже на служение исполняше жертву» (epi tēs diakonias ēplēru thysían); исплънити мѣру: «Фарисѣемъ же омрачено оскудѣвшемъ реч: и выисполните мѣру оцъ ваших» (kaì hymeis anaplērōsate tò mètron tōn patērōn humōn) — «Хроника» Георгия Амартола;

б) 'выполнить указание, обещание': исплънити волю (plērun thēlēma); исплънити обещания (plērun hypochēseis) — «Иудейская война» Иосифа Флавия.

Навести...

'причинить бедствие': навести казнительствия (erágein paidestēria), навести неправду (erágein tēn adikían), навести разрушение. «Таче разрушение злomu благовѣствию наводитъ» (eita tēn lúsin tōn kakōv euaggelizōmenos erágei) — «Хроника» Георгия Амартола.

Нанести...

'совершить неблагоприятное действие': ненести казнь (erágein timōrian) — «Толкование на Псалтырь» Феодорита Киррского; нанести укоризну (bállēin húbriñ) — Житие Нифонта. Эта сочетаемость присуща и современному русскому языку. По определению четырехтомного «Словаря русского языка», глагол *нанести* «в сочетании с некоторыми существительными означает: причинить, сделать то, что выражено существительным. *Нанести ножевую рану. Нанести урон. Нанести поражение.* — Он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою. Гоголь...; Титок, схваченный Давыдовым за кисть левой руки правой успел нанести ему удар по голове. Шолохов...» Приведенное словарем определение не отличается точностью. Очевидно в современном русском языке, как и в древнерусском, сочетания глагола *нанести* с абстрактными

существительными обозначают только неодобрительные действия (в противовес глаголу *принести*: принести беду, горе..., принести радость, счастье...).

Разрушити...

а) 'преодолеть (превозмочь) нечто нежелательное, неприятное': разрушити зълодѣяние, жестосръдие, зълонравие (*katalýein kakurgian, sklĕrokardian, dystropian*) «Хроника» Георгия Амартола;

б) 'нарушить установление, обычай': разрушити брак (*diakóptein tās eggýas*) — «Иудейская война» Иосифа Флавия, разрушити обычаи (*katalýein tò éthos*) — «Хроника» Георгия Амартола.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАЛЬКИ

Значение греческого глагола *tithénai* 'класть' меняется в сочетании с существительным *ónoma* 'имя'. Эта особенность повторяется при переводе: *положить имя* означает 'назвать'. «Положи имя боляриноу томоу» (*epitheis tò ónoma tu autu sygklĕtiku*) — «Хроника» Иоанна Малалы.

Подобное изменение происходит и в глаголе *pernúnai* 'вонзать', 'втыкать' в сочетании с существительным *hóros* 'межа', 'граница'. Перевод *положить прѣдѣль* означает 'прекратить, ограничить действие': «Не бысть бо съмръти раздроушенъ съмръть. нъ прѣмѣнилъ еси вешти прѣдѣль положъ» (*all' ěmeipse tōn pragmatīn, tēn phýsin ho tēi phýsei tūs hōrus pĕxámenos*) — Сборник Клотца. В оригинальном памятнике: «Не прелагаи прѣдѣлы, их же положиша отцы твои» (Псковская I летопись).

См. также:

творити волю — греческое *poiein thélōma*
приятн заповѣдъ — *déchesthai entolōn*
приятн отвѣтъ — *déchesthai apókrisin*
прѣступити законъ — *parabaínein nómon*
дръжати мѣсто — *katéchein tōron*
творити врѣдъ — *poiein ponērōn*
творити безаконие — *poiein anomían*

Индивидуальные кальки распространены не столь часто, как кальки-гнезда. Лишь некоторые из них встречаются не только в переводных памятниках древнерусской письменности, но также и в оригинальных памятниках и в современном литературном языке.

Мы смогли проанализировать лишь небольшое число семантических и фразеологических калек с греческого, стремясь привлечь внимание читателей преимущественно к тем образцам, которые сохранились в русском литературном языке вплоть до современного периода его развития.

Профессор М. М. КОПЫЛЕНКО
Алма-Ата

«ВАШ ЭКСПЕРИМЕНТ МЕНЯ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ...»

(Продолжение, начало на стр. 2)

Итак, что же получилось? Продемонстрируем наиболее типичные и интересные ответы.

Слово *вид* и еще несколько слов были включены в эксперимент, чтобы можно было проверить, как влияют на ответы пол, возраст, местожительство, специальность. Результаты получились очень характерные. Например, инженер-путеец В. В. Жарков из г. Тавды Свердловской области, не задумываясь, ответил: *вид вагона*. А инженер-строитель В. Г. Ц. из Актюбинска столь же уверенно сказал: *вид города*. Агроном из Благовещенска ответил: *парнокопытные*. У некоторых мысль пошла в другом направлении: С. К. Герасименко из Горького и И. В. Алисова из Ярославля ответили: *набережная*, ленинградка В. А. Бойкова, выросшая в Крошпгадте, С. В. Андреев из Таллина, З. Ф. Фролова из Николаева: *моря или морской*. Т. А. Шейнова из Череповца ответила словом *лес*, а Н. С. Ермакова из Донецка — *террикон*. Учителя чаще всего отвечают: *внешний*; впрочем, у словесников встречается *время*, а бывший преподаватель химии А. Ф. Лобастеева из Вольска ответила: *материю*.

Одна из встретившихся здесь закономерностей оказалась неожиданной. Жители приморских городов нередко отвечают: *вид моря, морской*, но почти никогда *вид на море*. Зато это выражение хорошо знакомо жителям «сухопутных» городов, приезжающим к морю в качестве курортников и подыскивающим себе комнаты как раз с этим самым «видом на море»...

Очень разнообразные и интересные ответы мы получили и на слово *кисть*. О. К. Матвеева из Ярославля и Н. И. Романова из г. Буя ответили: *рябина*, а не назвавший себя товарищ из Душанбе, Н. Г. Агарагимов из Дагестана, Н. Е. Серебрякова из Чирчика Ташкентской области и

многие другие — *винограда*. Врачи и музыканты думают при этом о *руке: подвижная; маховая; плавная и мягкая* (так ответила дирижер В. И. Лыдикова из Ярославля), *слабая*. Очень характерный ответ дала медсестра Т. С. Москальнова из Ленинграда: *ампутация*. А вот другой ряд ответов: *художника* (очень многие), *известь* (товаровед Н. П. Побединская из Джамбулской области), *щетка* (ленинградский оптик М. В. Бибичков), *волосая* (ростовский строитель В. В. Орищенко), *кисть Флейца* (это специальная малярная кисть: инженер-экономист Г. А. Журбова из Харькова).

Показательные ответы получены на слово *готовить*, хотя вообще-то здесь наши корреспонденты проявили удивительное единообразие, подумав независимо друг от друга об обеде (почему-то, кстати, не о завтраке или ужине — эти ответы встречаются не в пример реже). Очень многие школьники и учителя, естественно, отреагировали словом *уроки*, уже упоминавшаяся медсестра Т. С. Москальнова — *материал* (вероятно, *перевязочный?*), а бухгалтер В. П. Шабатина из Ленинграда — *отчет*. Со словом *готовить* опять-таки выявилась некоторая закономерность: словом *обед* отвечают в равной степени и мужчины и женщины. Когда раскрывают понятие «готовить», только женщины упоминают конкретные действия — *жарить, варить* и т. д., а для мужчин процесс как бы не существует — важен лишь результат.

Слово *дом* дало не менее показательные варианты. Горожане обычно отвечают: *высокий, многоэтажный, кирпичный*, даже *панельный*. А вот В. П. Польшцев, выросший и живущий в селе, ответил: *изба*, К. Аубекиров из Ставрополя — *зата*, Я. М. Говорухо из Курской области — *сад*.

Теперь — по очереди — о других словах. Нас несколько обеспокоило, что на слово *музыка* слесарь ответил: *фиармония*, рабочий (не указавший специальности) — *симфония*, а кандидат наук, старший научный сотрудник — *джаз*. Нечего и говорить о студентах...

Из ответов на это слово мы специально выбирали и подсчитывали фа-

мили композиторов. Оказалось, что самый популярный у нас композитор Чайковский (около 30 процентов ответов), на втором месте — Бетховен (20 процентов), третье и четвертое разделили Шопен и Бах (около 12 процентов каждый). Все остальные сильно отстали (не больше 3 процентов).

О слове *бабочка* скажем лишь, что у музыкантов оно вызвало непредусмотренное нами представление о галстукке...

Иностранец для наших корреспондентов — это прежде всего *немец* (24 процента), на втором месте — *англичанин* (23). Затем идут *француз* (18) и *американец* (11). Здесь особенности испытуемых тоже сказались. Например, Т. И. Кравчук из Читы ответила: *японец*; а преподаватель английского языка В. П. Шафранова из Алма-Аты, конечно: *англичанин*... Самый трогательный ответ дала одна студентка: «Жан Марэ»...

В ответах на слово *мир* бросается в глаза обилие эмоциональных реакций: *мир — нужен! мир — хорошо! Альтернатива мира или войны для наших людей — это не академическая проблема.*

С особым интересом, естественно, мы обратились к ответам на слово *ученый* и попытались представить, каким рисуют его наши корреспонденты. Получилось: *старец с седой бородой; лысый; в очках.* Мы этого принять на свой счет не решились: психолингвистика — наука молодая, в том числе и по возрасту представителей.

Если говорить о выдающихся ученых, названных в ответ на это слово, то здесь на первом месте бесспорно М. В. Ломоносов. На втором оказался И. П. Павлов. Дальше единообразия уже не было: преподаватель биологии К. К. Корнейчук из Москвы — Сеченов, медсестра из Ростова — Кох, врач К. Макеева — Пирогов, ленинградский радиотехник О. В. Москальонов — Попов и так далее. Несомненно, самый своеобразный ответ дал москвич Г. В. Спасский: *ученый кот.* Впрочем, он тут же объяснил, что у него в квартире живет кот, обученный разным штукам...

О слове *книга* большая часть корреспондентов подумала фразой, принадлежащей М. Горькому: «Любите книгу — источник знания». Вот эти два слова — *источник* и *знание* — и преобладали. Впрочем, было много и других ответов. Мы попытались подсчитать, сколько раз назывались отдельные книги или отдельные авторы. На первое место прочно вышел Лев Николаевич Толстой со своим романом «Война и мир»: около 25 процентов! Второе место — около 15 процентов — занял Николай Островский («Как закалялась сталь»). Все другие отстали: в их числе «Овод» Войнич, «Дон Кихот» Сервантеса, «Красное и черное» Стендаля, энциклопедия, есть даже повременная книга.

О слове *русский* А. Я. Степанов из Ашхабада в письме, приложенном к ответу, написал: «Думается, что к слову *русский* 99 процентов дадут язык». Товарищ Степанов оказался по существу прав и ошибся лишь в количестве: не 99, а несколько меньше — 40. Дальше идут *человек* и *народ*. Ответ на слово *русский* в какой-то мере перекликается с данными, полученными на *иностранец*: ведь многие ответили на слово *русский* названием национальности — по контрасту, так сказать, «от противного». На первом месте остался *немец*, на втором — *француз*, а вот *англичанин* и *американец* почти совершенно не встречаются. Очень много «локальных» ответов: корреспондент из Ташкента отвечает — *узбек*, из Караганды — *казах*, из Таллина — *эстонец* и т. д. Понравился нам ответ одного ленинградца: *Русский музей.*

На слово *школа* едва ли не половина испытуемых ответила: *мужество* — по названию кинофильма.

Таковы важнейшие результаты. К материалам эксперимента мы еще вернемся, и не раз. Ответы оказались очень интересными. Они будут использованы и в ассоциативном словаре; кстати, если вы хотите нам помочь, напишите. Около 50 читателей уже предложили свою помощь в подготовке словаря, и мы послали им нужные материалы.

Доктор филологических наук
А. А. ЛЕОНТЬЕВ

Диалектологические заметки М. И. Михайлова

Единомышленник и соратник Н. Г. Чернышевского Михаил Илларионович Михайлов (1829—1865) известен как поэт, переводчик, беллетрист, публицист и один из авторов прокламации «К молодому поколению», за составление которой был арестован и приговорен судом к каторжным работам на шесть лет.

М. И. Михайлов глубоко интересовался русским языком и вопросами общего языковедения. В научно-популярных очерках «За пределами истории (За миллионы лет)», написанных в последний год жизни, он в полубеллетристической форме излагает свою точку зрения на происхождение человеческого общества и языка. Очерки были попыткой показать самый ранний период развития человечества. В изображении этой эпохи Михайлов исходил из материалистических взглядов. Возникновение языка он связывает с формированием человеческого коллектива.

Однако наиболее интересной частью научного наследия Михайлова следует признать его этнографические и диалектологические работы. Как и многие революционные демократы, Михайлов проявлял глубокий интерес к устно-поэтическому творчеству народа. С детства, когда он «ходил еще в красной рубашонке с кожаным поясом», М. И. Михайлов был очарован народной поэзией и красотой ее поэтического языка. В автобиографической повести «Святки» писатель с глубоким уважением и симпатией рисует образ крепостной Устиньи — сказочницы, которая в совершенстве умела передавать истинный народный колорит сказок «каким-то фантастическим говором».

В 1848 году материальная нужда заставила Михайлова покинуть Петербург, университет и вступить на службу в Нижегородское Соляное правление. В Нижнем Новгороде он жил в одной квартире с В. И. Далем, не без влияния которого «собрал множество загадок, сказок, побасенок».

Интересовался Михайлов и особенностями местных говоров. Особенно отчетливо его диалектологические интересы и способности проявились во время литературно-этнографической экспедиции 1855—1857 годов, которую организовало Морское министерство «в разные края России для собирания сведений, до морской части относящихся». Михайлову, уроженцу Оренбургской губернии, было поручено обследовать и описать Оренбургский край, простиравшийся от Уфы до Каспийского моря. Участникам экспедиции предлагалось обратить внимание не только на жилища, промыслы, судходные орудия и средства, нравы, обычаи, привычки, но и дать их местные названия, отметить местные особенности речи.

Михайлов серьезно отнесся к порученному делу. Он написал «Очерки Башкирии» и труд «От Уральска до Гурьева». В последнем он дал этнографи-

ческое и историческое описание края, а также сообщил сведения о рыбных промыслах уральского казачьего войска, располагавшегося по нижнему течению реки Урал.

Однако случилось так, что из всего написанного увидели свет только его «Уральские очерки. Из путевых заметок 1856—1857 годов» («Морской сборник», 1859, № 9). Но и эти сравнительно небольшие заметки позволяют представить диалектологические занятия Михайлова.

Прежде всего Михайлов отмечает, что у уральских казаков преобладающей была стихия русской речи с некоторым местным колоритом. Описывая жизнь и быт, одежду и занятия уральских казаков, он отмечает местные слова.

За участие в боевых походах против Польши, Литвы, Турции и т. д. казаки получали *дачи*. Смысл слова отличается от принятого в общезыковом употреблении. *Дачами* казаки называли право на рыболовство по Уралу и северной части Каспийского моря. Так же они именовали и те земли, которые давались войску правительством. Были сенокосные *дачи* (угодья), выпасные, пахотные и др. Были в говоре уральцев и другие слова, имевшие особое значение и тоже обратившие на себя внимание Михайлова.

Все дела казаков решались на *войсковом круге*. Это не простое собрание казаков. Первоначально *войсковой круг* представлял собой весьма демократическую организацию, похожую на новгородское вече. Назревшие вопросы решались всеми казаками. Каждый из них мог прямо сказать «Любо!» или «Не любо!», «Желаем!» или «Не желаем!». На круге они могли большинством голосов сместить атамана войска и заменить его новым, а прежний здесь же становился в ряд с простыми казаками. Обычно *войсковой круг* собирался у *войсковой избы*, то есть у войсковой канцелярии.

Были в войске и *чиновники*, но это не канцелярские работники, а казаки, имевшие офицерский чин (офицерское звание). Словом *атаман* называли не только главу войска или станицы. У казаков избирался или назначался атаман осенней, летней, зимней и весенней рыбной ловли, атаман сенокоса и т. д. Были у казаков и *есаулы*, но это слово означало не какой-то воинский чин, звание, а именно должность заместителя атамана. У уральских казаков существовал род службы — *наемка*, необычный для других казачьих войск. Это «добровольное» согласие на службу одного казака вместо другого. Состоятельные казаки нанимали вместо себя других, снаряжали их и давали их семьям *подмогу*, то есть материальную помощь, пока длился срок службы. Казаки *караул держали* (несли долговременную сторожевую службу) по *форпостам*. Слово *форпост* значило не просто укрепленный пункт, как это понимается всеми, а именно среднее по величине степное укрепление. У казаков были *крепости* (крупные военные пункты), между ними — *форпосты*, между форпостами — *редуты* или *реданки*, между последними — *трети* (наблюдательные посты).

Отмечает Михайлов слова, связанные с рыбным промыслом. Прежде всего называет *багренье*. Этот вид ловли был характерен только для Урала. Багренье проводилось между 10 декабря и 6 января, когда лед на реке становился крепким. Рыбу ловили на местах ее лежки баграми различных наименований. Багренье подразделялось на *малое*, во время которого казаки ловили красную рыбу в подарок царскому двору, и *большое* —

общая для всех казаков ловля. Необычными Михайлову показались *бударки* — небольшие лодки, выдолбленные из *увейя* (дерева).

Казачьи *холостяки* (молодые люди) ходили на *вечерки* (вечерние сборы молодежи), где играли в *веревочку* (род игры), а иногда и баловались *вином* (водкой). Молодые казачки постоянно щеголяли в сарафанах *жаркого* (оранжевого) или *кофейного* (лилового) цвета.

Отдельные местные слова Михайлов не только употребляет в контексте, но к некоторым из них делает пометки. Например: «Здесь, скажу между прочим, не говорят: *Она набелена, нарумянена, а У нее накладное лицо*. Или: казачки носят «...шубейки, опушенные мехом или лебяжьим пухом, с меховым же или лебяжьим воротником, по-уральски, *горёлком*». В нужных случаях он толкует слова: «Сорока — это возвышающийся к затылку бархатный кокошник, весь унизанный спереди жемчугом и драгоценными камнями».

М. И. Михайлов уделил внимание и фонетической стороне говора уральских казаков. При описании фонетических особенностей он вступает в полемику с П. И. Небольсиным и даже с В. И. Далем. «Кроме старинных сарафанов,— пишет он,— у уралок есть еще особенность: они все говорят, жеманно пришепечывая ... Очень может быть, что говорить: *целовек* вместо *человек*, *доука* вместо *дочка* считалось даже некогда особенно красотой в женских устах. Теперь словечко *цяво!* произведет не больше впечатления, нежели простое *чего?...*» Это очень важное замечание, которое обнаруживает в Михайлове тонкого наблюдателя. Он абсолютно точно указал на пришепечивание при произнесении аффрикаты *ч*, то есть на шепелявое произнесение этого звука.

Полемизируя с П. И. Небольсиным, М. И. Михайлов пишет: «К слову замечу, что напрасно некоторые описатели здешнего быта приписывают уральским женщинам какой-то младенческий лепет, утверждая, будто они говорят: *огсельница* вместо *огшельница*, *саялфанцик* вместо *сарафанчик* и т. д. После этого оставалось только сказать, что уралки называют Урал *Улялем*, а себя *уляльками*. Ничего подобного вы не услышите. *Це* вместо *че* оттого-то особенно и поражает слух, что звук *ше* не заменяется звуком *се* и буква *р* выговаривается твердо». И здесь Михайлов был прав.

В очерке М. И. Михайлов уделил внимание и морфологии говора. Самой характерной морфологической чертой в песнях казаков он считает форму глагола на *аил-*: собирился, выпадаил, выезжал. Кроме того, он приводит своеобразную многократную форму глагола: *выпалзывала* вместо *выползала*, *вылетывала* вместо *вылетала*. Приводит пример со своеобразной формой прилагательного: *кондвыми* копытами вместо *конскими*. Наконец, замечено необычное употребление предлога *об*: «Я об тебе не забуду».

Как видим, Михайлов проявил себя незаурядным по тому времени языковедом-диалектологом. Он не ошибся, когда в ответе на запрос морского ведомства написал: «Думаю, что в трудах моих найдется кое-что нового и для публики и для науки».

И. Р. ЕМЕЛЬЧЕНКО

Гурьев



Девятого сентября 1969 года исполнилось 25 лет со дня победы социалистической революции в Болгарии. Вооруженное народное восстание, руководимое Болгарской коммунистической партией, открыло путь для коренных изменений в общественно-политической, экономической и культурной жизни страны. Революционные преобразования, совершившиеся в нашем обществе, привели к существенным изменениям и в духовном облике народа. Борьба за высокую языковую культуру стала национальной задачей первостепенной важности. Необходимо было теоретически и практически разработать эти проблемы, сделать литературно-языковые нормы достоянием всего болгарского общества.

Первым большим успехом болгарской языковедческой науки после 9 сентября была орфографическая реформа, проведенная в феврале 1945 года. Она имела глубоко прогрессивный и демократический характер: отброшены были ненужные буквы, которые до того писались лишь по традиции, упрощена орфографическая система. В достаточно короткий срок были созданы и первые языковые и орфографические справочники. Благодаря реформе легче стало усваивать и некоторые литературные орфоэпические нормы.

Интерес к проблемам языковой культуры проявляют почти все современные болгарские языковеды. И следствие нашего упорного тру-

да — немалые успехи в этой области. Большой вклад в развитие языкознания сделал профессор, член-корреспондент Болгарской Академии наук Л. Андрейчин, директор Института болгарского языка БАН. За прошедшие 25 лет Л. Андрейчин опубликовал несколько сотен статей и заметок по различным вопросам языковой культуры. Часть их собрана в его книге «На езиков пост» (София, 1961). Это первая книга, предназначенная для широкой общественности, книга, в которой вопросы речевой практики разрабатываются на прочной теоретической основе. Впервые в болгарской языковедческой литературе подробно разработан вопрос о языковой норме в отличие от понятия «языковое правило». Правильный взгляд на нормативный характер литературного языка позволяет автору решить множество конкретных вопросов из области речевой практики. В этом труде Л. Андрейчин проявляет себя не только как чрезвычайно эрудированный исследователь современного болгарского литературного языка, но и как ученый с необыкновенно тонким языковым чутьем, которое помогает ему из всего круга вопросов выбрать наиболее важные для науки и практики.

За последние годы повысился интерес к функционированию языка. Непосредственным результатом этого интереса явились книги, в которых обстоятельно рассматриваются от-

дельные вопросы теории и практики языка. Таковы, например: М. Москов. Ръководство за изучаване на българския правопис (1962); К. Попов. Синтактично съгласуване в българския език (1964); Хр. Кодов. Ударението в българския книжовен език (1966); Ст. Стоянов. Членуване на имената в българския език (1965); Ст. Стефанов. Езиковият шаблон (1966) и др. Широкому кругу читателей предназначены и популярные книги К. Мирчева «Българският език през вековете» (1964) и Ст. Стойкова «Български народни говори» (1964). В печати ряд новых книг и сборников с материалами по вопросам языковой культуры.

Живой отклик находят вопросы языковой практики на страницах журнала «Български език». Это орган Института болгарского языка БАН. Здесь есть регулярные рубрики «Езикова култура» и «Въпроси и отговори». В этих разделах журнала принимает участие широкий круг ученых разных поколений. Заметки по конкретным языковым вопросам публикуются и в других журналах: «Български език и литература», «Начално образование», «Родна реч» и др. Не равнодушны к проблемам языковой культуры и многие наши газеты: «Работническо дело», «Отечествен фронт», «Вечерни новини», «Литературен фронт», «Учителско дело», «Социалистическа търговия», «Ехо» и др. Вообще печать активно содействует распространению языковых знаний, повышению уровня языковой культуры.

В пропаганду языковых знаний включается и радио Софии. Каждую пятницу звучит передача «Родна реч». Ее готовят языковеды на основе вопросов радиослушателей.

Решение многих проблем культуры речи невозможно без основательного развития лексикографии. После 9 сентября были изданы трехтомный академический «Речник на съвременния български книжовен език» (1955—1959) и однотомный «Български тълковен речник» (издавался дважды: 1955, 1963). Эти словари помогают разобратся в сложностях словоупотребления. Хорошим справочником по заимствованиям стал «Речник на чуждите думи в българския език» под редакцией

Вл. Георгиева (1 издание — 1958, II — 1964).

Насущная потребность в официальном орфографическом словаре была удовлетворена уже в 1945 году. Словарь этот был делом широкого коллектива авторов: Л. Андрейчин, Вл. Георгиев, Ив. Лекков, Ст. Стойков. Его шестое переработанное издание вышло в 1965 году тиражом в 190 тысяч экземпляров. Завершена работа над большим академическим орфографическим словарем болгарского литературного языка. Специально для учащихся начальной школы впервые у нас был выпущен словарь Р. Русинова «Правописен речник за учениците от началните училища» (1968).

Повышение языковой культуры народа — процесс сложный и многогранный. Немаловажная роль отводится здесь школе. После 9 сентября обучение родному языку было в корне перестроено: теснее стала его связь с проблемами живой речи. В новых учебниках, написанных выдающимися болгарскими языковедами, много места уделено разъяснению и закреплению грамматических, орфоэпических и орфографических норм. Практическая направленность обучения болгарскому языку способствует повышению языковой подготовки молодых людей.

Совершенное очевидно, что языковая культура учеников есть результат систематической работы всего педагогического коллектива. Распоряжением Министерства народного просвещения во всех школах был установлен единый режим правильного произношения и написания (1961). Итак, учитель независимо от того, какую школьную дисциплину он преподает, должен в совершенстве владеть болгарским языком.

Как видно из этого обзора, за 25 лет в социалистической Болгарии сделано очень много для поднятия уровня языковой культуры трудящихся. Достигнутые успехи ободряют языковедов и деятелей культуры, поощряют их к еще более упорному и самоотверженному труду.

РУСИН РУСИНОВ,
старший ассистент
Высшего педагогического института
имени братьев Кирилла и Мефодия
(г. Велико Търново, Болгария)



И ГРУСТНО

Ирина
ТОКМАКОВА

*

Это праздник!
Это праздник!
Это праздник Первомайский!
Это — новая рубашка,
Это — легкий-легкий шарик,
Это — флаги, флаги, флаги,
Это красные балконы.
Это праздник Первомайский!
Это — легкий-легкий шарик,
Это — папа, это — мама,
Это — песенка такая!

*

Я лепить никогда не учился.
Но слон у меня получился.
И я назвал его Джумбо.
И он быстро так приручился!

*

Мне грустно. Я лежу больной.
Вот новый катер жестяной.
А в деревне — лошади.
Папа мне купил тягач,
Граи игрушечный и мяч.
А в деревне — лошади.
Мне грустно. Я лежу больной.
Вот вертолетик жестяной.
А в деревне — лошади.

*

А у меня есть ящерка.
Живет она в белом ящике.
И я ее утром кормлю.
И я ее очень люблю!

*

Я ненавижу Тарасова.
Он застрелил лосиху.
Я слышал, как он рассказывал,
Хоть он говорил тихо.

Теперь лосенка губастого
Кто же в лесу накормит?
Я ненавижу Тарасова:
Пусть он домой уходит!

прочитайте



д е т я м

*

Это ничья кошка.
Имени нет у нее.
У выбитого окошка
Какое ей тут житье?
Холодно тут и сыро.
У кошки лапа болит.
А взять ее в квартиру
Соседка мне не велит...

*

Как пятница долго тянется!
Я не играю. Жду.
Он обещал в пятницу.
Сказал: «Неприменно приду».
И вот уже очень поздно.
И мама велела спать.
Но он же совсем взрослый.
Не мог он неправду сказать!

✱

А я рано утром залез на сосну.
Я видел вдали золотую страну:
Золотых людей,
Золотых лошадей,
Золотых-золотых индюков!

А я поздно вечером влез на сосну.
Я видел вдали голубую страну:
Голубых людей,
Голубых лошадей,
Голубых-голубых индюков!

А если б я ночью залез на сосну,
Увидел бы я никакую страну:
Никаких людей,
Никаких лошадей,
Никаких-никаких индюков!

*

Я могу и в углу постоять.
Час могу, три могу или пять.
Я не брал эту запонку красную.
Ну, зачем говорите напрасно вы?

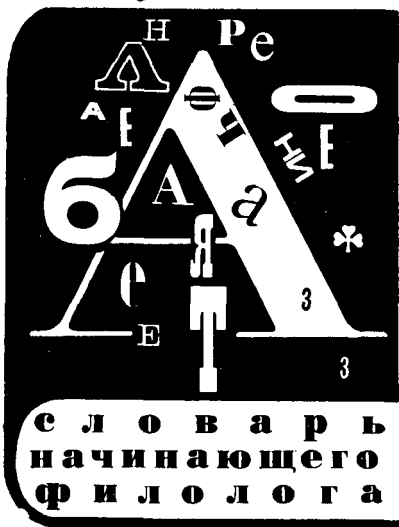
Я могу и в углу постоять.
День могу, три могу или пять.
Я не брал эту запонку красную.
Ну, зачем говорите напрасно вы?

Я могу и в углу постоять.
Год могу, три могу или пять!

*

Теплый вечер.
Теплый ветер.
Кусочек теплого неба.
Кусочек теплого хлеба.
Молоко парное, теплое очень.
Мамочка, теплой ночи!

консультации



(Продолжение)

Метафора. Употребление слова или выражения в переносном значении на основании сходства, сравнения, аналогии, а также слово или выражение, таким образом употребленное: чуткий камыш, говор волн, шелковые ресницы и т. п. Многие наименования в языке обязаны своим происхождением метафоре: гусеница трактора, подошва горы, спинка стула и т. п.

Метаязык. Специальный язык, которым пользуются при описании естественного человеческого языка.

Метонимия. Употребление названия какого-либо предмета вместо названия другого на основании их смежности, например, упоминание имени автора вместо его произведений (читаю Пушкина) или, наоборот, упоминание произведений вместо имени автора (Пушкин: «певец Гяура и Жуана», т. е. Байрон); указание на нечто присущее, характерное для лица или предмета вместо самого лица или предмета (Исаковский: «одинокая бродит гармония»); указание на сосуд вместо содержи-

мого (Пушкин: «шипенье пенистых бокалов») и т. п. Метонимический перенос — одна из самых частых причин появления у слов новых значений и употреблений, например: «Способная аудитория»; «Он снял номер в гостинице».

Мétrica. Учение о стихосложении и стихотворном размере; совокупность стихотворных размеров какого-либо языка.

Модальность. 1. Категория, обозначающая отношение содержания речи к действительности. В формах наклонений глагола выражается реальность осуществления действия или нереальность, то есть условность, желательность или повелительность, невозможность, неосуществимость действия: «Сегодня тепло»; «Завтра будет тепло»; «Если бы завтра было тепло!» «Будь вчера тепло, мы бы пошли на каток».

2. Категория обозначающая отношение говорящего к содержанию высказывания; выражается частицами, вводными словами, интонацией: «Возможно, завтра будет тепло»; «Ну так что же», «Он, должно быть, опоздает».

Модель. Схема (тип, образец) построения, расположения языковых единиц, определяемая законами языка и регулярно воспроизводимая в речи; словообразовательная модель, модель предложения.

Монолог. Продолжительная речь одного лица, обращенная к другим действующим лицам, к зрителю, к себе самому, например, монологи Чацкого в «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

Морфема. Минимальная часть слова, имеющая лексическое или грамматическое значение (корень, суффикс, приставка, окончание), например: пере-стрел-к-а, волос-ат-ый, из-мел-чив-ый.

Морфология. Раздел грамматики, изучающий части речи данного языка, грамматические категории и способы их выражения, а также формы изменения слов (например, образование грамматических форм слова).

Назывное (номинативное) предложение. Односоставное предложение, в котором главный член — су-

существительное в именительное падеже или сочетание существительного с количественным числительным: Славная осень. Темная ночь. Двадцать часов.

Наклонение. Грамматическая категория, обозначающая отношение глагольного действия к действительности. Действие может быть представлено как реальное, тогда оно выражается в формах настоящего, прошедшего и будущего времени изъявительного наклонения, или как возможное, желаемое, требуемое — используется повелительное и сослагательное наклонения: «Ты напишешь мне письмо»; «Напиши мне письмо»; «Написал бы ты мне письмо».

Наречие I. Часть речи, обозначающая признак действия: «Он отвечал *неохотно*»; «Объясни ему *по-хорошему*»; качества: «Рисунок *очень* красив»; «Лицо ее казалось *чрезвычайно* мрачным»; предмета: «Он *почти* артист», «Сны *наяву*».

Наречия не изменяются. Качественные наречия имеют степени сравнения: «Мальчик бежал *все быстрее и быстрее*»; «Она работает *лучше всех*».

Наречие II. Крупная территориальная разновидность языка, совокупность говоров, которым присущи общие характерные черты: северновеликорусское наречие, южновеликорусское наречие.

Нарицательное имя существительное. Существительное, представляющее собой наименование однородных предметов: человек, дочь, страна, река, стол (в отличие от собственного имени — индивидуального наименования предмета: Оля, Бельгия, Волга, Ионыч, Антон-Горемыка и т. п.).

Нарбная этимология. Переделка непонятного, чаще всего заимствованного слова, объясняемая стремлением сблизить его по звучанию с каким-либо известным словом и таким образом осмыслить его: «Когда он спросил, не забредали ли к ним французы, то староста сказал, что *миродеры* (вместо *мародеры*, заимствованного из французского языка) бывали точно» (Л. Толстой. Война и мир); «Научилась Раечка разные тустепы да „*поди-спать*“

(вместо *падеспаны*) выводить» (Абрамов. Две зимы и три лета).

Настоящее время. Глагольная форма, обозначающая действие, совпадающее с моментом речи: «Сейчас она гуляет», включающее момент речи: «Он работает над этой книгой уже два года»; «Девочка хорошо рисует».

Форма настоящего времени используется иногда при рассказе о прошедших событиях: «В 1825 году происходит восстание декабристов» или о предстоящих: «Через месяц мы едем на Черное море». Это особый стилистический прием, который позволяет сделать высказывание более реальным или более обязательным. В разговорной речи вместо будущего — для того, чтоб подчеркнуть «непременность» действия — используется даже форма прошедшего. Например в таком диалоге:

- Ну отправляйся же скорее!
- Я уже ушел.

(Из устной речи)

Значение настоящего времени выражают только глаголы несовершенного вида.

Начальная рифма. Рифма, находящаяся в начале строки:

- Внимает* он привычным ухом
- Свист.
- Марает* он единым духом
- Лист.

П у ш к и н

Неологизм. 1. Новое слово или выражение, недавно вошедшее в язык, созданное для обозначения прежде неизвестного предмета, для выражения нового понятия. Неологизмы последнего времени: космодром, бонника, программист, лавсан, кемпинг, битник и т. п. 2. Новое слово или выражение, созданное автором художественного произведения с определенной стилистической целью. Такие неологизмы редко получают широкое распространение (например, неологизм Достоевского *стусеяться*), а чаще всего остаются окказиональными (см.).

(Продолжение в следующем номере)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ

Разнообразные речевые недостатки, свойственные детям младшего дошкольного возраста, носят временный, преходящий характер. К 4—6 годам они, как правило, изживаются, уступая место четкой, благозвучной речи. Однако нередки случаи, когда неправильные, «возрастные» формы произношения закрепляются, и ребенок (уже школьник!) шепелявит, картавит, гнусаит, говорит нервным, срывающимся голосом, сумбурно, сбивчиво. Такие дефекты накладывают тяжелый отпечаток на всю его личность, осложняют взаимоотношения с окружающими, затрудняют обучение письму и чтению.

Воспитательные, педагогические приемы, направленные на устранение косноязычия и его последствий, в этих случаях долго не дают желаемого результата, а занятия с логопедом могут лишь ослабить, но не искоренить дефект. Необходимо поэтому как можно раньше, начиная с первых месяцев жизни ребенка, заботиться о становлении, развитии его речевых навыков, умело и своевременно предупреждать появление речевых нарушений. Для этого нужно охранять нервную систему малыша от потрясений, не пугать его неосторожным прикосновением, криком, «страшными» предметами — это может вызвать заикание. Родителям следует также помнить, что затяжные инфекционные, простудные заболевания, воспаления в ушах и гортани, кроме всего прочего, могут привести к нарушениям слуха и голоса, полной потере их. Надо тщательно оберегать голову малыша от ударов, ушибов, травм. Причем особо вни-

мательным следует быть к ушам. Любая неосторожность — и ребенок па всю жизнь останется глухим!

При недостатках в строении органов речи (губ, челюстей, неба), надо обратиться к врачу, иначе косноязычие в наиболее грубых формах окажется непреодолимым. Однако мы хотели бы подчеркнуть, что у большинства заикающихся и косноязычных детей органы слуха и речи развиты нормально.

Нужно позаботиться и о том, чтобы ребенок не кричал, не кривлялся, не говорил на вдохе, задыхавшись, захлебываясь и торопясь, или пищал. Все это расстраивает дыхательные связки, а затем хрипоту, сиплость, слабость голоса.

Следует приучать детей говорить плавно, четко, выразительно. И здесь особенно важен пример воспитателя: его речь — образец для маленького слушателя. Если взрослый подлаживается к детскому лепету, говорит отрывисто (ешь! пей! одевайся!), однообразно, скрадывает окончания слов, допускает различные языковые погрешности, то развитие речи ребенка значительно задерживается. И наоборот, чем чаще он слышит правильную, неприужденную, эмоционально насыщенную речь, тем сильнее у него желание высказаться, и это способствует быстрому развитию его собственной речи. Поэтому надо различными способами вовлекать малыша в беседы, терпеливо и заинтересованно выслушивать его рассуждения и вопросы, подкашивать недостающие слова и выражения, исправлять произносительные огрехи. При этом лучше всего показать ребенку положение губ и языка при правильном звуко- и словопроизношении.

В возрасте от двух до пяти, когда речь бурно развивается, ребенок особенно нуждается в помощи, но в помощи осторожной, неназойливой, чтобы радость узнавания новых звуков и слов не превращалась в нудную утомительную работу. И здесь хорошим подспорьем для воспитателя становятся игры в подражания: «ку-ку», «голоса животных» и т. п. Полезно также предложить ребенку послушать и затем изобра-

звать звуками шелест листьев, тиканье часов, шум работающего мотора и т. д. Такие игры воспитывают у ребенка внимание, умение слушать, развивают и обостряют слух. А слух — неперемнное условие развития речи.

Немаловажное значение имеют также занятия ритмикой, музыкой, пением. В результате их значительно выравнивается речевое дыхание, длительность, сила звука, улучшается слух. Такие занятия надо поощрять.

Для закрепления еще не до конца усвоенных звуков полезно использовать картинное домино, сюжетные картинки, подобранные с таким расчетом, чтобы звук, который не получается, встречался в различных сочетаниях. Малышу скучно повторять «бессмысленные» слоги (са-со-су), а в игре, называя картинки (сабля, соя, сумка), он делает речевые упражнения с удовольствием. Прекрасный материал для тренировки содержат русские

народные сказки, загадки, поговорки, прибаутки, потешки.

Прост и весьма полезен для развития речевых навыков следующий прием. Старшие сначала показывают, как надо прочитать стихотворение или исполнить песенку, а потом предлагают: «Давай вместе скажем:

Травка зеленеет,

Солнышко блестит...» и т. д. (так называемая сопряженная речь). Для старших дошкольников этот прием следует усложнить: взрослые читают сказку, а ребенок по частям воспроизводит ее (отраженная речь).

Так, в игре, в интересной и доступной для ребенка форме можно работать над постановкой любого звука, над предупреждением любых, даже самых серьезных речевых нарушений. Впрочем, разнообразные речевые нарушения и методы их исправления — тема следующих наших статей.

Ю. А. СТЕПАНОВ



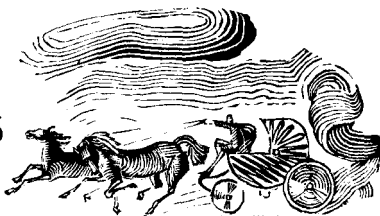
«Ез кз пирю кз глагольце(моу) много рече. аще бы толико оума имѣлз, колико рѣчи, толика бы не молчалз.

Некто сказал много говорящему в пирю: Если бы столько имел ума, сколько речей, то только бы не говорил».

«Ез кнѣкз кз пирю оупошю молчаца и рече. аще не наказанз еси молчиши, (то) наказанз еси, аще ли наказанз еси молчиши, то щтиноудз еси наказанз.

Увидевший в пирю молчащего юношу так сказал: «Если ты глуп и молчишь, то ты умен, если же умен и молчишь, то совсем глуш».

поэма «Русской рези»



● Отсоединить

М. Б. Никитин из Ленинграда обращает внимание на глагол *отсоединить*, в котором приставки *от-* и *со-* имеют противоположные значения: первая означает 'удаление, отделение', а вторая — 'сближение, присоединение'. Не следует ли этот глагол заменить другим, не таким противоречивым по своему составу, например *отъединить*? Могут ли вообще в одном слове совмещаться приставки, суффиксы, корни с противоположными значениями?

Оба глагола — *отсоединить* и *отъединить* — употребляются в современном русском языке. В глаголе *отсоединить* совмещены приставки с противоположными значениями (*от-* и *со-*), однако, это не значит, что от него надо отказаться. Ведь значение каждой из приставок отражает разные этапы действия: соединение предшествует разъединению. Глагол *отсоединить* образован от *соединить* с помощью приставки *от-* и означает 'отделить что-либо, ранее соединенное'. Таким образом, приставка *от-*, прибавленная к глаголу *соединить*, как бы подавляет, подчиняет себе значение 'единения, скрепленности, совместимости', выраженное приставкой *со-*.

Совмещение в одном слове приставок или суффиксов, имеющих противоположные значения, вполне возможно. Например, в научных и технических терминах *безазотистый* 'не содержащий азота', *безуглеродистый*, *безволокнистый*, *бесступенчатый* противоположными значениями обладают приставка *без-*, с одной стороны, и суффиксы *-ист-* и *-чат-* — с другой. Суффиксы эти означают наличие чего-либо, например, *азотистый* 'содержащий азот', *ступенчатый* 'имеющий ступени', а приставка *без-* 'отсутствие чего-либо'. Прилагательное *безазотистый* образовано от слова *азотистый* с помощью приставки, которая подобно *от-* в глаголе *отсоединить*, подчиняет себе значение аффикса исходных слов.

Довольно часто можно встретиться и с совмещением в одном слове противоположных значений корня и, например, приставки. Корень глагола *отъединить* означает сближение, а приставка — разъединение. Он образован, как и *отсоединить*, от глагола *соединить*, но при этом приставка *со-* заменена в нем на *от-*. Таким

заменительным способом образованы многие русские глаголы со значением разъединения чего-либо, ранее соединенного: отклеить (отделить что-нибудь приклеенное) — от *приклеить*, развинтить (разъединить что-нибудь свинченное) — от *свинтить*, отколоть, открепить, отлепить, отлипнуть, отпаять, отпилести; развязать, расклепать, распелсти. Сохранение приставки исходного глагола наблюдается в подобных случаях значительно реже: кроме глагола *отсоединить*, можно отметить лишь *разукрупнить*, в котором сохранена приставка глагола *укрупнить*.

И. С. Улуханов

● К и ко

Читатель Г. А. Дмитриев из Москвы интересуется употреблением предлогов *к* и *ко*, правилами их выбора.

Употребление предлогов *к* и *ко* зависит в первую очередь от того, с каких звуков начинается слово, стоящее непосредственно после предлога. Мы говорим, *ко времени*, но *к назначенному времени*. Если слово начинается с гласного или сочетания согласного и гласного звуков, то перед ним употребляется только предлог *к*. В остальных случаях пишется и *к* и *ко*: *к гнезду*, *к двери*, *к счастью*, но *ко мне*, *ко времени*, *ко сну*, *ко дну* и т. п.

На употребление предлогов влияет и традиция, которая иногда меняется: этим объясняются колебания при употреблении отдельных слов с *к* или *ко*.

По сходству с такими случаями, как: *к дневальному*, *к дневнику*, *к Днепру*, появляется *к дню* наряду с *ко дню*. Так же ведут себя предлоги *с* и *со*, *под* и *подо*, *пред* и *предо* и т. п.

Р. В. Макарова

● Пожарный или пожарник?

«Мне неясно, как правильно называется моя профессия? Пожарный или пожарник?» — спрашивает нас В. П. Лешуков (Москва).

Существительное *пожарный* в значении 'работник пожарной команды' издавна известно и до сих пор широко употребляется в русском языке. Слово *пожарный* мы слышим в обиходной устной речи и по радио, встречаем в печати и в современной художественной литературе: «Пожарные в сверкающих шлемах что-то бросали в бушующий огонь» (Гладков. Клятва); «Пожарные разматывают шланги» (Некрасов. В окопах Сталинграда); «Пожарные расстегивали пояса» (Федин. Первые радости) и т. п. С некоторых пор с *пожарным* стало конкурировать существительное другого образования — *пожарник*.

Первые сведения о слове *пожарник* относятся к концу XIX — началу XX века. Например, в Толковом словаре Даля читаем: «по-

жарный — служитель пожарной команды; *пожарник* — устраивающий пожарные команды и заправляющий ими». Можно его найти и в дореволюционной прессе: «И задача пожарников охранить лишь соседние постройки» («Новое время», 1902, № 9335). Подобно многим новым словам, входящим в язык, *пожарник* был встречен отрицательно, с некоторым сомнением: «С удивительной настойчивостью работают пожарные



или пожарники, как теперь пишут (а все-таки странно сказать „кум-пожарник“)» («Биржевые ведомости», 1912, № 11832). Хорошо известно мнение о «пожарнике» В. А. Гиляровского: в слове *пожарник* «есть что-то мелкое, убогое, обидное» («Москва и москвичи», очерк «Под каланчой»). Он полагает, что этот неприятный оттенок слова связан с его происхождением: в дореволюционной Москве пожарниками называли нищих, которые прикидывались погорельцами, чтобы вернее вызвать сострадание и получить милостыню.

В наши дни в защиту *пожарного* (и против *пожарника*) выступил в печати писатель Борис Тимофеев: «Слово *пожарный* — это прилагательное, превратившееся в существительное, родственное таким словам, как *дежурный*, *нарочный* (гонец), *рассыльный* и т. д. Как нелепо образование слов *дежурник*, *нарочник*, *рассыльный*, так же нелепо слово *пожарник*. В слове *пожарник* есть что-то ироническое, какой-то оттенок насмешки» (Правильно ли мы говорим?).

Точку зрения Тимофеева разделяют многие, в том числе и сами пожарные. И тем не менее *пожарник* неудержимо входит в язык, оно употребляется в разговорной речи и по радио, в газетах и в произведениях художественной литературы: «На срубе тпали топорами пожарник Мосей и колченогий Архип» (Гладков. Лихая година); «Он вынужден был поступить пожарником в городскую пожарную команду» (И. Козлов. В крымском подполье); «Никакие новые промышленные предприятия... не будут сданы в эксплуатацию, если нет на то согласия санитарного врача, пожарника» («Правда», 11 июля 1966); «В качестве слесарей... зачислялись санитарки больниц, няни детских садов, пожарники» («Ленинградская правда», 19 июля 1968). *Пожарник* наряду с *пожарным* включено в состав всех современных толковых словарей русского языка.

Почему же *пожарник*, несмотря на противодействие, входит в язык? Объяснение этому надо искать в словообразовательных

процессах, типичных для русского языка. В настоящее время очень широко распространен способ образования существительных с помощью суффикса *-ик* от прилагательных на *-ный*, характеризующих лиц, занятых той или иной деятельностью. Существительные на *-ик* постоянно создаются в общем языке, а также в специальной сфере наименований профессий (например: зубник, подрывник, торпедник, водник, международник, такелажник, монтажник, трикотажник, дорожник, глазник, паровозник, охранник, швейник, почвенник). Они нередко вытесняют соответствующие существительные других словообразовательных типов. Так, существительные *кагоржрый*, *беспризорный*, *обозный* были заменены образованиями на *-ик*. Существительные *беспризорный* и *беспризорник*, например, вошли в язык только после революции, но употребление слова *беспризорный* прекращается в 40-х годах, его полностью замещает вариант *беспризорник*. Так же характерна история пары *обозный* и *обозник* (в значении 'военнослужащий обоз'). Оба слова сосуществуют в литературном языке XIX века, в советскую эпоху *обозный* вытесняется *обозником*. В художественной литературе послевоенного периода отмечен уже только *обозник*.

Нет сомнения, что и существительное *пожарник* стало распространяться в языке благодаря экспансии суффикса *-ик*. Вряд ли правильно вести происхождение слова *пожарник* наших дней от пожарников-погорельцев дореволюционной Москвы. Современное *пожарник* — новообразование советской эпохи, связь его с погорельцем не осознается. Главная сфера распространения слова *пожарник* — разговорная речь, она менее официальна. Именно поэтому в деловой речи предпочтение до сих пор отдается варианту *пожарный*. Однако вполне возможно, что в будущем *пожарник* будет признан и как официальное наименование. С точки зрения словообразования оно так же «правильно», как и *пожарный*. Любопытно, что в Ленинграде выпущен нагрудный знак для работников пожарных команд — «Отличный пожарник». Вопреки воле и желанию самих пожарных форма *пожарник* под напором живого употребления проникает и в их среду.

И. Н. Шмелева

● Экцентриситет

Читатель А. И. Цыганов обращает внимание на то, что в специальной литературе встречаются два варианта написания одного термина — *эксцентрицитет* и *эксцентриситет* (число, равное отношению расстояния от любой точки кривой 2-го порядка до фокуса к расстоянию от этой точки до соответствующей директрисы).

«Если оба написания законны, — пишет он, — то прошу сообщить, какое из них все же предпочтительнее».

Из орфографических вариантов *эксцентрицитет* и *эксцентриситет* следует отдать предпочтение второму, оно соответствует про-

изношению, принятому среди ученых, специалистов по математике и механике. Такое написание дано в наиболее авторитетных руководствах по высшей математике и механике (Академик В. И. Смирнов. Курс высшей математики; Академик В. А. Фок. Теория пространства, времени и тяготения; Академики Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц. Механика и др.), а также в «Большой советской энциклопедии». Если в первом издании «Орфографического словаря русского языка» (1956) указано написание *эксцентрици-тет*, то в последнем (1965) даны оба варианта, причем на первом месте поставлено написание *эксцентриситет*.

Д. И. Бугорин

● Компонент и компонента

Ленинградец С. С. Гречишкин пишет нам: «В последнее время мне несколько раз пришлось встретить в технической литературе слово *компонента*. Прошу объяснить, допустимо ли употребление слова *компонент* и в мужском и в женском роде в один и тот же период развития русского языка».

В современном русском литературном языке в ряде случаев наблюдается колебание в роде имен существительных: *жираф* и *жирафа*, *закуток* и *закутка*. В приведенных примерах допускается употребление в мужском и женском роде при полном тождестве значений.

Несколько иначе обстоит дело со словами *компонент* и *компонента*. Сейчас это два самостоятельных слова, различных по значению и сфере употребления: *компонент* — общелитературное слово, *компонента* — научный термин у математиков, физиков и химиков. Однако оно встречается, хотя и редко, в статьях, рассчитанных на широкий круг читателей: «Важно также установить интенсивность и обилие тяжелой компоненты в первичных космических лучах в межпланетном пространстве» («Правда», 4 апреля 1959).

Отсутствие слова *компонента* в филологических словарях объясняется тем, что это специальное слово, с узкой сферой употребления.

Разумеется, происхождение слов — *компонент* и *компонента* — одинаковое: оба восходят к латинскому *componens* — «составляющий».

Д. И. Бугорин

● Стюардесса — бортпроводница

«Пассажиры рейсового самолета „ТУ-104“, вылетевшие из Ленинграда в Москву, были удивлены сообщением стюардессы о возвращении воздушного лайнера обратно в аэропорт. Стюардесса пояснила, что самолет получил повреждение от встречи в воздухе с... уткой» («Комсомольская правда», 20 сентября 1968).

Нам кажется привычным слово *стюардесса*. Оно хорошо известно не только тем, кто пользуется современными пассажирскими самолетами. Однако появилось оно в русском языке в этом значении не так давно, не раньше 50-х годов.

Читатели А. М. Горбачев из Буйнакскa и А. И. Кузнецова из Ленинграда интересуются причинами его появления.

50—60-е годы нашего столетия характеризуются заметным оживлением международных контактов и, что естественно, расширением языковых связей, обогащением состава международной лексики, взаимозаимствованиями. Характерный пример — английское слово *stewardess* в это время стало известно в значении 'бортпроводница' и другим европейским языкам: французское *stewardese*, немецкое *Stewardess*, чешское *stewardka*, русское *стюардесса* и др. В русском языке оно употребляется как синоним слова *бортпроводница* 'проводница на борту самолета': «Первые двадцать минут полета, пока идет набор высоты, у нас, стюардесс, спокойное время. Ходить нельзя» («Юность», 1968, № 6); «Я еще никогда не видел тебя в форме... Стюардесса! [Наташа]: Не люблю этого слова. Я бортпроводница, понятно?» (Радзинский, 104 страницы про любовь).

Эти два слова сосуществуют в современном языке, используются как равноправные. Употребительность названия *стюардесса* поддерживается не только влиянием других языков, но и внутриязыковым фактором — возросшей продуктивностью суффикса *-есса*. Новые образования с этим суффиксом довольно легко возникают в современном русском языке — как в книжном стиле, так и в разговорной речи, например: *поэтесса*, *кадресса*, а также и *адвокатесса*, *кригикесса*, *пилотесса*.

Название *бортпроводница* появилось в те же годы, что и *стюардесса*, и активно используется в общелитературном языке и в профессиональной среде: «В 1963 году я расстался с редакцией областной газеты... А чуть позже в трудовой книжке бывшего корреспондента появилась забавная запись: „...зачислен на должность бортпроводницы“» («Юность», 1968, № 6).

Самую раннюю фиксацию этого слова находим в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (1953): «*Бортпроводник, а, м.* Служащий гражданского воздушного флота, следящий за порядком на самолете и обслуживающий пассажиров. //ж. *бортпроводница, ы.*». «Орфографический словарь русского языка» (1956) помещает его наряду с пятью другими с первой частью *борт-* (бортврач, бортинженер, бортмеханик, бортпроводник, бортрадист). «Словарь сокращений русского языка» (1963) приводит следующие примеры: бортжурнал, бортинженер, бортпаек, бортпроводница. Одним из первых в этой группе появилось слово *бортмеханик*. Оно есть уже в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935). По-видимому, это калька с немецкого *Bordmechaniker*. Остальные легко могли быть образованы уже на русской почве по такой удачной модели.

Сейчас, по-видимому, нет оснований считать, что слово *стюардесса* вытесняет свой русский дублет — *бортпроводница* (хотя такое мнение иногда высказывается). Более того, в официальных бумагах и документах преимущественно используется название *бортпроводница*.

Гораздо реже встречается наряду с *бортпроводницей* и *стюардессой* их «мужской вариант» — *стюард* и *бортпроводник* (последнее чаще как обобщенное название профессии): «На встречу Новому году отправились 158 изнывающих от нетерпения пассажиров. Их обслуживали четыре стюардессы и два стюарда. За Уралом бригадир *бортпроводников* Оля Короткова украсила салон еловыми ветками» («Комсомольская правда», 3 января 1969).

Е. И. Голанова

● Предварительный

«Почему пишется *предварительный*, а не *предворительный*? — спрашивает читатель Э. Е. Пилавов (пос. Цалка, Грузинская ССР). — Прошу объяснить образование этого слова».

Безударные гласные в русском языке произносятся ослабленно, редуцированно, поэтому во многих случаях возникает вопрос — какую букву писать в безударном слоге? Иногда можно получить ответ, изменив слово так, чтобы безударный гласный стал ударным. Например, в слове *водá* в первом слоге пишется *о*, а не *а* (ср.: *вóды*, *вóдный*). Однако проверке поддаются далеко не все слова, так как во многих случаях нельзя найти родственное слово или форму слова, в которых неясный гласный становится ударным. К таким случаям и относится написание буквы *а* в слове *предварительный*. Это написание традиционно, его необходимо запомнить, как и написание очень многих слов с безударными гласными: *абажур*, *абонент*, *винегрет*, *корова* и *мн.* др.

С точки зрения современного языка объяснить эти написания невозможно, но, обратившись к истории слов, почти всегда можно найти причину традиционного написания.

Прилагательное *предварительный* образовано с помощью суффикса *-тельн(ый)* от глагола *предварить*, как *убедительный* от *убедить*, *сообразительный* от *сообразить* и т. п. Глагол *предварить* в древности был заимствован русским языком из старославянского, где он образован с помощью приставки *предъ-* от глагола *варити* 'делать что-нибудь раньше кого-либо; предупреждать, встречать'. Этот глагол встречается и в древнерусских памятниках, причем только с буквой *а* в корне. Глагол *варити* — очень древний: родственные ему слова встречаются не только в славянских, но и в балтийских языках.

И. С. Улуханов

● Летошний снег

Читатель М. Б. Леонов из Воронежа пишет: «Много раз я слышал, как о ком-нибудь (или о чем-нибудь) пренебрежительно говорят: „Нужен он мне, как летошний снег“. Странное, на мой взгляд, выражение. Ведь и зимний снег нам тоже не очень нужен. Он просто есть, как, скажем, весеннее половодье или осенний ли стопад... Объясните, пожалуйста, в чем тут дело».

Да, конечно, это выражение кажется странным, если слово *летошний* понимать, как 'летний' (именно в этом смысле, очевидно, толкует его наш читатель). На самом деле *летошний* связано с существительным *лето* в старом значении 'год'. Современный язык тоже отчасти сохранил это значение, например: сколько лет прошло, несколько лет назад и т. д. *Летошний* непосредственно восходит к наречию *летось*, образованному от существительного *лето* с помощью указательного местоимения *сь* — старой краткой формы местоимения *сей*. Наречие *летось* или его акающий вариант *летась* и теперь еще можно встретить в некоторых русских диалектах. Оно означает 'прошлым летом' или 'в прошлом году' (например у В. И. Даля «Летась была холодная зима»). Таким образом, *летошний* значит 'прошлогодний'. Кстати, в народе бытует и «обновленный» вариант интересующей нас поговорки: «Нужен, как прошлогодний снег».

С. А. Иванов

● Берегиня

Г. Елизаветин из Москвы пишет:

В рижском Музее истории медицины я видел макет, изображающий стоянку первобытного человека. На переднем плане женщина у костра. Надпись на макете: «Берегиня». Как мне пояснили сотрудники музея, это значит 'берегущая очаг'. Между тем в толковых словарях говорится, что *берегиня* — 'русалка'. Прошу вас разъяснить мне, допустимо ли толкование слова, которое я услышал в музее, закономерно ли такое производное от слова *беречь*.

Начнем с первых свидетельств языка об этом слове. *Берегиня* (древняя форма *берегыни*) — древнерусское слово. Встретилось оно в двух памятниках первых веков христианства — в составе Паисиевского сборника конца XIV — начала XV века и Софийского сборника конца XIV века. Это Слова (проповеди) о том, «как первое поганые [язычники] веровали в идолы и требы [жертвы] им клали». Проповедник обеспокоен тем, что христиане продолжают поклоняться языческим богам: «мняще ся крестьяны [христианами], а поганьская дѣла творять». Поэтому в Словах нет подробного описания языческих божеств, верований, обрядов, а есть лишь перечисление некоторых из них и страстный призыв «хранитися от поганых странъ писания» (Софийский сборник).

Вот тексты со словом *берегиня*: «а переже того клали требу упирем и берегиням» (Паисиевский сборник); «И начаша жрети

[приносить жертвы] молнии и грому, и солнцу, и лунѣ. А друзии [другие] Перену, Хурсу, виламъ, и Мокши, уширемъ, берегынямъ, их же наричаютъ три. ѿ [тридевать= 27] сестриниць... А друзии къ кладязѣмъ [к колодцам] приходяще молятся... а друзии огнь-ви [огню], и каменю, и рѣкамъ, и источникомъ, и берегынямъ, и въ дрова» (Софійский сборник).

В поздних памятниках письменности, если только они не являются списками тех же поучений, слово *берегиня* не встретилось. В диалектах оно тоже не отмечено. Так, в «Словаре русских народных говоров» под редакцией Ф. П. Филина, где наиболее полно представлена лексика и фразеология всех русских диалектов, слово *берегиня* отсутствует.

Приведенный выше текст из памятников не оставляет сомнения в том, что *берегинями* в древности назывались какие-то мифологические существа, которым язычники поклонялись и приносили жертвы. Было их двадцать семь сестер. Но где они обитали, что собой олицетворяли, каков был их нрав, об этом тексты не говорят ничего.

Тем более представляет интерес упоминание о берегинях и даже отчасти их характеристика в книге академика Б. А. Рыбакова «Первые века русской истории» (М., 1965). Он пишет: «*Берегини* (от слов *беречь*, *оберегать*) — это добрые, помогающие человеку духи...». В другой работе «Русалии и бог Симаргл-Переплут» («Советская археология», 1967, № 2) Б. А. Рыбаков повторяет, что «древний дуализм делил мир на духов добра и духов зла, на „ушырей“ и „берегинь“».

К сожалению, этимология, предложенная Б. А. Рыбаковым, основана лишь на созвучии слов *берегѹ* и *берегиня*, против нее есть серьезное возражение. Имена существительные на *-иня* (древнерусское *-ьни*) со значением действующего лица в русском языке образуются от однокоренных имен существительных мужского рода: бог — богиня, раб — рабыня, гусь — гусыня, инок — инокиня и т. д. От глагольных корней таких образований нет. Единственно возможная структурная пара для *берегини* — слово *берег*.

Таким образом, кажется достаточно убедительным считать *берегиню* мифологическим существом, обитающим на берегах рек, прудов, озер. Это водяная дева, русалка, связанная с культом воды, который был особенно распространен у язычников. Такого же мнения придерживаются многие исследователи прошлых лет: А. Афанасьев, Н. Гальковский, Е. Голубинский, Л. Нидерле, В. Даль.

Были ли берегини добрыми, как думает Б. А. Рыбаков? Сомнительно. Известный исследователь истории древних славян чешский ученый Л. Нидерле полагал, что «к человеку они относятся недоброжелательно» (Славянские древности. М., 1956). Вероятно, по своему нраву они мало чем отличались от русалок наших сказок и поверий.

Теперь вернемся к берегине из рижского Музея истории меди-

дины. Здесь мы встречаем берегиню в неизвестной до сих пор роли жрицы огня, хранительницы очага. Поэтому мы вынуждены закончить наш ответ Г. Елизаветину, если не вопросом, то во всяком случае недоумением, которое вызвано новой должностью древнерусской берегини.

Н. В. Чурмаева

● Возразить

Нам пишет читатель Е. Потонин из Ленинграда:

В романах И. С. Тургенева меня смущает употребление слова *возразить*. Например, в романе «Рудин»: «Давай-ка, братец, закурим трубки, да попросим сюда Александру Павловну ... Она нас чаем напоит. — Пожалуй, — возразил Вольтцев».

Мы употребляем слово *возразить* только в смысле 'заявить о своем несогласии' (кстати, так же толкуется это слово и в Словаре В. И. Даля), а здесь скорее подходит глагол *согласился*. Впрочем, подобных примеров из Тургенева можно привести не один. В чем дело?

Употребление слова *возразить* в произведениях писателей XIX века справедливо обращает на себя внимание вдумчивого читателя. В современном русском языке глагол *возразить* — *возражать* выступает в значении 'приводить опровергающие доводы, говорить против, заявлять о своем несогласии'. В этом же значении, судя по свидетельству словарей, глагол *возразить* употреблялся и в XIX веке. Например, в начале XIX века в «Словаре Академии Российской» он определяется так: 'противуречить, прекословить чьему мнению, говорить вопреки, в опровержение другого'. Аналогичное определение дано слову и в середине века — в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля и в конце века — в «Словаре русского языка, составленном Вторым отделением Академии наук».

Однако с этими определениями не вполне согласуются такие употребления глагола *возразить*, как в приведенном примере из романа Тургенева «Рудин». Подобные примеры можно встретить и у других писателей XIX века: «Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: — Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» (Пушкин. Капитанская дочка); «[Бельтов]: Если я потерял юношеские верования, зато приобрел взгляд трезвый, — может, безотрадный, грустный, но зато истинный. — Больдемар, — возразил старик, — бойся предаваться слишком трезвому взгляду». (Герцен. Кто виноват?); «Вы сами какое-то письмо вчера вечером читали, — говорил Захар, — а после я не видал. — Где же оно? — с досадой возразил Илья Ильич» (Гончаров. Обломов).

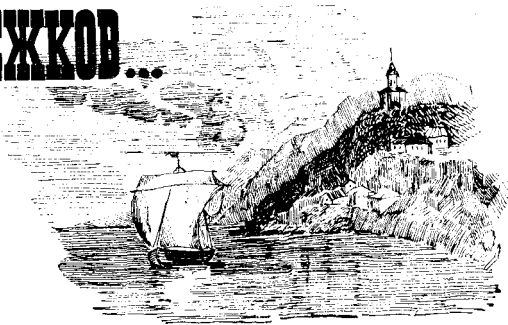
Во всех приведенных диалогах в реплике собеседника нет возражения, значение глагола *возразить* здесь можно было бы определить как 'сказать (в ответ), ответить, отозваться'. Любопытно, что в черновых вариантах некоторых произведений Пушкина на месте глагола *возразить* в сходных ситуациях употреблены глаголы *сказать* и *ответить*, например в «Капитанской дочке»: «[Са-

вельич]: — А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный! — Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь» (в черновиках: *отвечал* урядник); в повести «Рославлев»: «m^{de} de Staël, друг Шатобриана и Байрона, m^{de} de Staël будет шпионом у Наполеона!... Очень, очень может стать, — возразила востроносая графиня Б». (в черновиках: *сказала* графиня Б.).

Употребление слова *возразить* в широком значении ‘сказать в ответ’ независимо от содержания самого ответа (утверждение ли это, возражение, согласие и т. п.), очевидно, объясняется воздействием французского языка. Отличительная особенность некоторых французских слов — широта и недифференцированность их значений по сравнению с соответствующими русскими словами. Так, глагол *répliquer*, повлиявший, по-видимому, на употребление глагола *возразить* имеет значение ‘dire comme réplique’ то есть ‘сказать в качестве реплики’ (имеется в виду реплика, как ответ собеседнику). Показательно, что в переводах на французский язык произведений Пушкина глагол *возразить* последовательно заменяется именно глаголом *répliquer*. Это можно отметить и в современных Пушкину переводах, например, в переводе «Пиковой дамы», сделанном Мери́ме, и в переводах нашего современника А. Меньё.

В. А. Плотникова-Робинсон

МЕЖ КРУТЫХ БЕРЕЖКОВ...



Н. М. Павлову (Ленинград) интересует правильное употребление падежей существительных с предлогом *между*: «Одни писатели употребляют творительный падеж, другие предпочитают родительный, а в некоторых рассказах встречается и то и другое, например, *между деревьями*, а через несколько страниц — *между скал*».

Сочетания предлога *между* (*меж*) с родительным и творительным падежами существительных одинаково могут быть употребле-

ны при обозначении пространственных и временных значений, но сочетания с творительным предпочтительнее. Конструкции с родительным падежом в наше время можно считать несколько устаревшими.

На протяжении всего XIX века эти сочетания выступали как равнозначные, хотя уже в начале века сочетания предлога *между* с родительным падежом существительного встречались реже, чем с творительным (например в сочинениях Пушкина: предлог *между* с существительным в творительном падеже отмечен 581 раз, а с существительным в родительном — только 28 раз).

В течение XIX века употребительность предлога *между* с родительным падежом неуклонно уменьшалась. При употреблении разных предложных сочетаний (с родительным и творительным) не возникало ни смысловых, ни стилистических различий, однако круг существительных в форме родительного падежа с предлогом *между* заметно ограничивался. Чаще других в этих сочетаниях выступали слова *берега, горы, холмы, леса, цветы, кусты, деревья, деревни, окна* и некоторые другие.

Многие сочетания существительных в родительном падеже с предлогом *между* фразеологизировались, утратив при этом пространственное значение, например: пропускать между ушей; читать между строк; уходить между рук; путаться между ног; очутиться между двух огней; между четырех стен; сидеть между двух стульев; упомянуть между слов.

В. А. Плотникова-Робинсон